

**ΠΡΟΣΑ**

Л. Гуревич

ИСТОРИЯ, ИЗВЛЕЧЕННАЯ ИЗ ДНЕВНИКА

Берегитесь мечтаний юности, ибо  
они сбудутся в зрелые годы.

Гёте.

Фигура художника привлекает к себе тех, кто ранен гнетущим омертвлением и упрощением современной цивилизации, кому деятельность художника представляется необыкновенно привлекательной и возбуждающей, но равно и тех, кто плохо переносит совершенное отсутствие сферы "добровольной" активности.

Анре Шастель.

Есть точка, с которой эта история началась. Нина - я с ней только что познакомилась - сказала: "Я хочу пригласить Вас на vernisаж".

Но я ещё живу в других историях и по дороге только краем себя думаю, какой все-таки соблазн в слове "художник", как жду, что сведет меня, наконец, с ним случай... Не очень ждала в этот момент. Это - как старая хроническая болезнь: сейчас не мучает, но помнишь, что болен.

На vernisаж мы шли почему-то в восьмом часу вечера и в какой-то переулок. Она ещё сказала, что какую-нибудь из выставленных работ нужно будет купить. Таким тоном, будто это непременно. Я отказалась идти на таких условиях, и дальше она вела себя так, словно разговора о покупке не было. С ней всё было как-то смутно.

Мы пришли в комнату в коммунальной квартире, где стены были увешаны картинами, на которых не было ничего, кроме ярких бесформенных пятен. И на фоне пятен - двое, он и она, одетые только в чёрное. Мне захотелось тут же уйти.

Но пришлось смотреть на пятна. Их ни с чем нельзя было ассоциировать. Разве что некоторые из них были похожи на какую-то материю под микроскопом. И что-то отдаленно напомнило нервные клетки. Но это, может быть, потому, что из обрывка разговора - какие-то люди выходили из комнаты в ту минуту, когда мы пришли - я поняла, что художник учился на психологическом факультете.. Что тоже не понравилось.

Я ждала, когда можно будет уйти. А потом вдруг почувствовала, что живопись действует на меня, что она - красива. Эти смешения цветов стали вызывать некие непереводимые в слова впечатления, которые различались при переходе от картины к картине примерно так же, как разные состояния в природе. И меня удивило многообразие состояний, доступных этому художнику.

Эти двое в черных одеждах молчали с такими лицами, словно нас тут нет. Может, так и должно быть, если это выставка, а мы случайные зрители.

Но слишком мала комната, чтобы чувствовать себя в ней, как в выставочном зале. И была в них особенная отчужденность.

Они тоже были зреющим. Девушка красива необыкновенно. Именно сказочно красива. И для меня это сильнее, чем та ирония, которую вызывали холод и черные одеяния.

Злая и обреченная красавица из сказки. Или, вернее, не злая, но уже успевшая умереть. А потом — как остывшее небесное тело. И от лица — бледное, голубоватое свечение.

Он — вытянутый, неправдоподобно стройный, с серым, сухим и отчего-то жутким лицом. Но "первого впечатления" не было, опередили эти пятна на стенах. Он для меня — оформленная человеком сущность этой живописи: неистовый, бессознательной, бесчеловечной.

Молчание все время. /Проигрыватель на полу, Бах/. Нет, одну фразу он произносит: о том, что на кровать садиться можно. Ничего другого в комнате нет. При этом на лице его образуется ужасная улыбка — как будто человек твердо решил улыбнуться — за минуту перед тем, как ему отрубят голову.

Но что тут может быть, кроме молчания? Тут между людьми живопись, а не слова. Живопись, которую нельзя перевести в слова. Но какое это неуютное молчание.

И какое тут неравенство, несоизмеримость — он обнажён и значителен, и беззащитен. Я надежно укрыта, но представляю собой что-то бесконечно малое и неопределенное.

И я даже не думаю: "Вот художник, но мне не удастся узнатъ его." Как будто не только желаний, но и мысли о них в этой комнате возникнуть не могло.

А потом Нина сказала мне, что с ним была его жена, что она тоже художница и что у них странные отношения: они говорят друг другу "Вы" и живут в разных местах.

Но о том, что он её сослуживец, она мне не сказала. И, когда я, зайдя к ней на работу, вдруг увидела эту пронзительную, черную фигуру, это удивило меня очень: он казался мне

совершенно немыслим в таком прозаическом и респектабельном месте, как НИИ.

Это было неприятное открытие. Я не хотела, чтобы он имел ко мне отношение. Теперь уже не мог не иметь. Ибо не мог не иметь ко мне отношение неправдоподобно стройный человек, психолог и художник, даже если он мне очень не понравился. Даже если вызывал ужас. Ужаса, впрочем, в его присутствии не было, он возникал при мысли о нем, в его присутствии была какая-то тяжелая пустота.

Что-то в нем нечеловеческое. То ли пришелец, то ли полуожившая статуя, то ли хаос еще рождает где-то демонов.

Он учтив. Он подтаскивает мне тяжелое кресло — из тех, что обычно не трогают с места. При этом на лице его, минуя страшные, напряженные глаза, опять образуется противоестественная, откровенно притворная улыбка. В улыбке, в тихом ~~изинном~~ и даже мягким голосе ни тени насмешки или издевательства. Просто видишь, что в ту минуту, когда он с улыбкой тащит кресло, ему столько же дела до тебя и до любого на свете, сколько мертвому.

Было непонятно, как его выносят здешние обитатели. И как само здание выдерживает исходящее от него напряжение.

Но я воспользовалась первым же предлогом, чтобы пригласить этого неприятного мне человека — в гости.

Чего я хотела?

Я не хотела. Я этому ужасалась. Но что-то всколыхнулось во мне, и этому чему-то или кому-то — какой-то дикой части моего существа — хотелось — чего? Пожалуй, хотелось увидеть его в натуральном виде, без тех приспособлений, которыми он пользовался, чтобы существовать в обыденном мире, где казался мне так же невозможен, как стихийное бедствие.

Что это за натуральный вид, я не могла вообразить, но подозревала что-то дикое и жестокое. Поэтому мое желание представлялось мне тоже диким и порочным. Порочным любопытством. Любовью к острым ощущениям. Бог знает чем.

Но кому бы во мне этого ни хотелось, не оно, это необузданное существо, встречало гостя в роли хозяйки. Однако, как

будто и не я. Под действием излучаемого им напряжения я превратилась во что-то мне совершенно не знакомое. И было скучно слушать и собственные слова, и то, что он говорит в ответ. Мне было с ним так страшно и скучно, будто я находилась не в своей комнате, а в кабинете большого начальника.

Может, я как-то рассчитывала на свою комнату. Столько раз мне говорили: "Тут я становлюсь собой". Да и кого могло стеснить это безымянное жильё: хозяйка последние 20 лет находится в психиатрической больнице, я тут живу по чистой случайности уже много лет, чужие бедные, ветхие вещи, купленные мною плюшевые шторы, громадная, порезанная ножом старинная картина. Но он и здесь был точно так же официален, как на своей службе.

Она оказалась прочна, его внешняя оболочка. Ничего, кроме пустоты и напряжения. Пустота какого-то позитивного качества — всё собой заполняющая и не для чего не оставляющая места.

Вроде тех странно тихих и наполненных чем-то невидимым мигнут в природе, после которых она приходит в бешенство.

Но тут никакой надежды на разрядку.

И какая может быть разрядка, вот и из меня выделилось что-то пустое и автоматическое, оно только и способно, что повторять мои слова, лишенные всякой жизни. И какая может быть жизнь сейчас, ничего нет во мне. Как будто всё, что только может быть, превращается в напряжение.

А он важен и даже прелестен — такое редкое качество, но и оно в нем страшно и неприятно: значит всё это ему нравится — ненатуральность и пустота. Неприятно, как нежная окраска несъедобного, вылепленного из воска яблока.

Потом, в течение целого года я видела его только случайно.

И я заметила, что человек с потусторонним лицом занят тем, что учится жить в обычном мире обычным образом. И в это занятие он вкладывает ту интенсивность, которая обольщала меня в нем. Она придавала всему оттенок формализма и педантичности. Предпочтение отдавалось штампу. Видимо, штамп обладал для пришельца эстетическими качествами. По крайней мере, стерость и затасканность его не отталкивали, и, казалось, он ис-

пытывает то удовольствие, которое можно получить, вступив в обладание предметом, обычным в далекой экзотической стране или удовольствие туриста, который, приехав в эту страну, научился местному приветствию. И, когда он говорил: "Как Ваша жизнь?" - в голосе его слышалось торжество по поводу того, что он этот прием усвоил, овладел этим ловким изобретением людей и что он готов им пользоваться до конца жизни.

Любопытство, которое я иногда замечала в нечеловеческих глазах, обращало и меня в обитателя клетки зоопарка, на которого устремлено внимание существа другого вида. В глазах был вопрос, который, быть может, касался меня, но ко мне обращен не был.

А еще он напоминал мне тень зверя, на которого нечаянно натыкаешься в лесу - тонкая, призрачная фигура, взметнувшаяся со стула при моем появлении в курительной комнате публички... Степень знакомства с ним была как-то неясна - нужно ли только поздороваться, или поговорить, или даже пойти куда-нибудь. Его вежливость все-таки ни к чему не приглашала.

Как-то я оказалась с ним за одним столиком в столовой. И, чтобы не молчать, спросила: "Когда же у Вас снова будет выставка?" - "Вы можете приехать посмотреть работы", - ответил он.

Я поехала. Не потому, что притягивала его живопись - впечатление длилось только пока я видела картины. Издали она не казалась чем-то серьезным. Как узор морозный на стекле или окраска перьев птицы. А в нем не было ничего похожего на то, каким мне представлялся художник. Ничего - кроме необыденности.

На этот раз попадаю в дом его жены. Вижу её графику - эстетизация тления, страшные сказки, валяются груди, в которых, как в яблоке - червь. Мне всё тут непонятно: и что за радость рисовать это, и зачем вообще ей - рисовать, и как странно, что она - нелюбима, не хочет быть любимой, иначе не объяснишь, почему выбрала его, которого ни у кого не хватит воображения представить любящим. Или в пику кому-то, или

их брак решает задачу чисто декоративную, и как успешно – во вкусе модерна – на фоне его изящно-удлиненной фигуры с бесцветным лицом – её синие глаза в дымке, распущенные пепельные волосы, светящаяся бледность – утопленница из "Майской ночи".

Он доставал свои работы из папки одну за другой. Как и в первый раз, я вначале была равнодушна к этим пятнам, потом почувствовала их действие. И вдруг вижу что-то совсем прекрасное. Я вскочила и крикнула: "Я покупаю!" До этой минуты мне не приходило в голову, что буду покупать живопись. Через неделю он принес их мне окантованными. "Как Вы можете жить с такой невероятно красивой женщиной?" – спросила я. – "Она не в моем вкусе. Поэтому, наверно, и могу. Она красива, это видят все. А мне нравится красота контрастная и неправильная, которая не всеми воспринимается как красота. И потом, я считаю, что я не менее красив. Так, по крайней мере, мне говорят женщины".

Я пыталась представить себе женщин, которые могут находить человека с ужасным лицом красивым и даже говорить ему об этом.

А картины, которыми я теперь владела, заключали в себе очень радужное и, притом, определенное чувство. Многоцветные потеки, разливы и проталины краски были похожи на весну, как она вдруг чувствуется в какой-нибудь зимний день. И на ту пору весной, когда всё резко тронется и потечет.

В серый дождливый день сталкиваюсь с ним на улице внезапно: высокая узкая фигура, ещё более высокая и узкая от длинного черного пальто, движения – голые ветки на сильном ветру, голос – мягкий до идиотизма, голос Смоクуновского в роли князя Мышкина и одновременно – возбужденный. Он говорит, что идет чинить будильник, и демонстрирует мне его как некий экзотический предмет. "Все-таки он страшен. Хотя таинственное зло так и не проявилось. Хотя он всегда мил и безукоризнен."

Голос Смоктуновского в роли князя Мышкина. Но, говорят, он похож на того, кто сыграл Раскольникова. Он похож на Раскольникова. И гримировать не нужно.

Возвращаясь домой, всякий раз радуюсь тому, что увижу сейчас его картины.

"Они — как огонь, — сказал один из моих гостей. — Чем больше на них смотришь, тем больше хочешь смотреть."

А через месяц или два, весной, в яркий день, я пришла в этот институт, и он — не подошел, а побежал, и — не в черной, как всегда, одежде, но в пестро-синей рубашке, с глазами не стальными, а голубыми и — не страшными. И весь облик другой — светлый, наивный, отреческий.

Демон, лицемер и художник. И ещё — мальчик, почти подросток, вынужденный носить в себе демона и художника.

На другой день я вошла в столовую, где обедали за одним столом все мои приятели из НИИ. Он вскочил и подставил мне стул. И на лице его не было выражения напряженного притворства, но как будто напряженное ожидание. Лицо Ученика — светлое и застенчивое. Точно свет упал на свинцовые волны и они стали серебряными.

Очень легкое, приятное ощущение примешивалось в эти дни к моему самочувствию. Словно что-то хорошее случилось со мной.

Через день встречаю Нину и она мне говорит: "Не обедай больше с нами, всё уже понятно. И не влюбляйся в него, пожалуйста. Ты же влюбишься в него!" — "Нет, нет, это невозможно." Вдруг я услышала фальшь в своем голосе.

Приятное ощущение, что теплилось во мне в эти дни, было так непохоже на беду, которую предвещало, как бокал с вином на безобразно пьяного.

Потом был отпуск, я уехала к морю, и там, в раю, на нежной серебряной гальке почти пустого царского пляжа в Новом Свете можно было обдумать эту новость.

Там мгновение остановилось, и ясно можно было видеть,

Там мгновение остановилось, и ясно можно было видеть, какой простой круг образовывают мысли: Это будет Этого не должно быть Но если будет Этого не должно быть Но какие меры предосторожности помогут, единственное известное мне лекарство от любви - презрение, но нельзя презирать столь глубокого человека.

То неопределенно-ужасное, что было в нем, не проявлялось никогда. И именно ~~и~~ это заставляло ощущать его недоступность безграничной.

Как будто передо мной был не человек, а изображение. А человека я никогда не видела и не увижу.

Даже если я правильно читаю изображение - это все же что-то вроде фетишизма, влечения к неодушевленному предмету. И даже те истерички, что когда-то влюблялись в изображения святых, были в лучшем положении - у них могла быть надежда, что если не сам святой, то принявший его облик дьявол, заинтересуется происходящим.

Передо мной открывалась пустота, помноженная на нетерпение, на ту бурлящую во мне стихию, которую иногда называют темпераментом.

И протяженность будущего чувства, которое в пустоте нечем утолить, мой взгляд охватить не мог.

Я вернулась из отпуска и встретила его в Публичке. На юге у меня украли чемодан, и вот стою перед ним в тапочках и в детских нефирменных джинсах. Разница в росте у нас чуть ли не полметра. И на голове у меня что-то нетривиальное и смешное - я только что вымыла её на работе, и у меня не оказалось расчески. Может, это тоже подстрекает к бунту, к попытке увидеть в нем не нечто торжественное и инфернальное, но простое и выносимое. Я говорю себе, что могу считать его своим приятелем, я пытаюсь "быть собой". Кажется, выходит, что пытаюсь быть бойкой.

Я даже говорю ему "ты". Звучит так, словно сказала что-то неприличное в приличном обществе.

"Какая Вы смешная", - говорит он, почти улыбаясь.

А потом сажусь на свободное место с ним рядом. Теперь я под прикрытием книг. Они избавляют от его глаз, от внимания, от необходимости разговаривать. Страх не уходит, но подавленность ослабела настолько, что могу осознавать что-то, кроме страха.

Он идет за новой порцией книг, и меня мучает его ~~шипящий~~ ~~запахи~~ стройность и резкие движения. Только теперь я вижу, что он хорош собой. Так что я буду еще и неоригинальна. Что тоже мучает меня.

Мне странно, что я не замечала этого до сих пор. Наверное, из-за оцепенения, из-за его нечеловеческих глаз, которые сейчас опущены и не заслоняют лицо или из-за того, что это совсем чуждая мне красота.

Красота сухого дерева - это же не сразу видно. Ни одной краски, ни одной мягкой линии. И он очень западный - вставь его складку на щеке, фигуру и движения в американский фильм - никто не заметит подделки. Как же это должно нравиться.

Мне он не нравился - ни с первого взгляда, ни потом. Не этого я боялась и попала в любовь, как в ловушку, которой не заметила.

Мне он и сейчас не нравится. И мучает отсутствие выбора, неизбежность собственных чувств.

Что я могу? Моя попытка быть бойкой только усилила окружающую его атмосферу фальши. Фальшиво даже то, что сижу рядом с ним.

В дистанции, на которой он держит, нет ничего обижающего. Но, окажись мы даже голыми, она не исчезнет.

Что я могу еще? Только встать и уйти, ничего не ожидая. Тем более, что его присутствие так же, как прежде, невозможно вынести.

Но теперь нельзя вынести и отсутствия. Приходится изобретать средства его увидеть. Целый месяц у меня ничего не выходит. И, когда я, наконец, его увидела, я сообщила ему эту новость. Уходя, у двери, до которой он меня проводил, протянула листок бумаги. Он взял просто, без следа недоумения, как

будто это принято — уходя, протягивать что-то.

Потому что мне захотелось сделать его соучастником. Хотя бы настолько, насколько он способен в этом участвовать. Если способен участвовать хотя бы мысленно.

Мне хотелось, чтобы что-то изменилось.

В самом деле что-то изменилось. По крайней мере, я была избавлена от тех мучительных процедур, которые нужно было совершать, чтобы, повинуясь насильственному влечению, устраивать себе встречи с человеком, присутствие которого я не могла выносить. Теперь это было невозможно, потому что это было невозможно, и тут даже насильственное влечение ничего не могло сделать.

Так что теперь я была в некоторой безопасности. И даже немного успокоилась. И принялась досадовать на то, что влюбленность, это почти дикое явление природы, лишило меня состоявшегося, наконец, знакомства с художником.

Но, пожалуй, все-таки нужно представиться. Пояснить, кто решился заговорить.

Я — зритель. Из тех, что от художника хотят красоты.

Для меня красота зримого мира — род наркотика, к которому я пристрастилась. Но для извлечения новых порций моему зрению были необходимы посредники.

Вот моя биография. Маленький город в Псковской области и большое озеро. Но вначале — любовь. В 9 лет я влюблена, и каждый день как бы случайно прохожу по улице, на которой он живет. Улица вела к озеру. Получалось, что к озеру — то я и прихожу, переполненная волнением. С этим мальчиком не разговариваю никогда. Зато говорю с озером. Я обращаюсь к нему, как к другу. В постоянных встречах мне открылась его красота, и, одухотворив его, я его обожествила.

Кроме дальнего мира, который я не хотела принимать, существовала красота. И красота оказалась всего надежнее.

Но немногое открылось мне непосредственно. Может, только вода и небо. Краски осени, мартовское солнце и мартовский снег я получила из рук Левитана. А Левитана мне передала книжка из серии ЖЗЛ, в которой не было даже цветных репродукций.

Я поверила ей на слово.

Мне было 12 лет, когда я прочла о Левитане. После этого я принялась читать всё, что могла найти о художниках. Было хорошо не только видеть красоту, но и читать о ней. И потом, живопись была как бы тем волшебным жезлом в сказке о Золушке, от прикосновения которого преображается будничное.

Картинных галерей в маленьком городе нет. Живопись я видела не живую и не в пространстве, но только в репродукциях, в книгах и среди слов. Слово открывало мне живопись, как живопись — красоту мира.

Больше всего на свете я любила стихи. Но ни о стихах, ни о поэтах я ничего не читала. К таким писаниям я испытывала брезгливость. Стихи — самые совершенные из слов и самое ясное выражение души поэта.

Поэт для меня был ясен весь. Казалось, что ясен был с рождения. Художник, напротив, весь — тайна.

Состав существа поэта казался подобным моему, и мое отношение к нему — братское и лишенное любопытства.

Но мне нужны были слова, называющие душевное состояние художника, чтобы в живописи увидеть это состояние. Художник был существом совсем другой породы, он обходился без помощи слов. Он притягивал, как притягивает то, чего в нас нет. К художнику были — страсть и любопытство.

Когда из маленького города я приехала в Ленинград, у меня появились другие занятия, и больше не было времени читать о живописи и художниках. Но они тут водились живые. Я смотрела на них с тоской — я не имела к ним отношения. Почему-то сразу почувствовала, что не нужна им.

И город — неожиданный.

Старая живопись — запатентованное наслаждение. Иногда выставки современной — они не трогают. Не потому ли, — спрашивала я себя, — что между мной и этими картинами нет слов? И единственное слово — имя под картиной — не пропитано ничем и ничего не значит?

Присоединить слова. Или присоединить самого художника. Чтобы понять, какая перелилась сюда жизнь или что это было за горение, обуглившийся и застывший остаток которого пред-

стал моим глазам.

И ешё. Прочитав столько книг о художниках, после которых художник всё же остался тайной, я хочу /поэтому, или бог знает почему/ пожить в своей детской сказке. Хочу собственными глазами увидеть, как соотносятся создатель и создание. Хочу, несмотря на то, что ешё в школе прочитан ужасный роман Золя "Творчество", из которого следует, что художники совершенно невозможны вблизи. Но я даже Пушкину не очень поверила с его: "Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон". Я не уверена в Аполлоне, в том, что в самом составе существа художника нет тех элементов, которые станут красивой.

И этот город. Молчаливый сказочный лабиринт, из которого больше не было выхода. Я вижу, что город красив, но я знаю, как я слепа. Я знаю<sup>ю</sup> красота бесконечна. Я погружена в зрелище города, в мою часто единственную радость. И хочу художника себе в спутники, чтобы он показал мне что-то такое, чего я не вижу. Увеличил бы дозу наркотика, без которого я уже не могла обходиться.

Но я – зритель. А между художником и зрителем – картины.

Поэтому я так хотела, чтобы с художником меня свел случай.

Человек, чьи картины тихо сияли у меня в комнате, совсем не походил на то, что заключалось для меня в слове "художник". С ним невозможно и не имело бы смысла бродить по улицам. У него не было особенных, нежных или страстных отношений с красотой реальности.

Он не изображал красоту – но он её творил. Из одних красок и из чего ешё? Мне не удается это подсмотреть, увидеть, чем была красота до того, как материализовалась в живопись, и как она наследует свойства создателя. Или хотя бы узнать, можно ли это увидеть.

Картины изумляли меня.

Несмотря на то, что на них не было ничего изображено, они нравились всем. А однажды вызвали восторг.

На выражение восторга я говорю, что роскошь иметь у се-

бя работу этого художника – вполне доступна. В ответ на это моя знакомая заявляет, что готова купить картину и просит отвести её к художнику.

Получалось, что я могу доставить ему покупателя. Рядом с этим фактом, несомненно имеющим значение для него, моё признание, удерживающее от встречи с ним, обладало реальностью не многим большей, чем реальность сна или бреда.

Я передала новость о покупателе через Нину. Тем же путем мне пришел ответ: звонить или приводить покупателя как можно скорее.

Я звоню. Голос его по телефону ласковый и обрадованный. Я объясняю это так же, как объясняют его самого сослуживцы, видящие в моем демоне практика и приспособленца – он рад покупателю.

Или нет, я просто попала своим звонком в ту минуту, когда у него такой голос. Я тут ни при чём, и моё признание тут не насилие, за которое следует ждать наказания. Он его не заметит, как воспитанный человек погрешность в чужом туалете.

Не станет ни избегать, ни подчеркивать холод. Ему это не нужно.

И, хотя от ласкового голоса я готова сорваться и ехать к нему, словно там встретит меня эта ласковость и сострадание, я в то же время ясно вижу, как мы оба, каждый по-своему, отвердеваем, каменеем, оказавшись в одной комнате.

Хотя и в сострадание я как-то верю.

Решимость моей знакомой оказалась недолгой, и в назначенный день она куда-то скрылась. Пришлось срочно уговаривать по-другу сыграть роль покупателя в награду за то, что я оплачу выбранную ею работу.

Прошло два месяца с того дня, когда я, словно ученица начальной школы, написала ему записку. Ничто не указывало на то, что он прочел её, и это делало произшедшее окончательно нереальным. Оно ничего не изменило, разве что придало смысл той тяжести, тому страху, который я испытывала, приближаясь к нему.

Или нереальными были теперь начавшиеся встречи — после того, что делает встречи невозможными. Словно во сне, когда идешь по воздуху и думаешь: оказывается, такое возможно. Всегда, возможно.

Теперь я уже не думаю прерывать знакомство, постановив считать бредом — любовь. Решив, что с нею нужно считаться не больше, чем со снами. А реальность — это возможность видеть одновременно картины и художника.

Любовь же следует перевоспитать так, чтобы с ней можно было бы ужиться. И я уживаюсь с ней — не как со снами, но как с хронической и всё же мучительной болезнью. Вроде мужественного больного, который в болезнь не уходит. И даже не говорит, как сильно он страдает.

Он снимает комнату и живет там один. Иногда я прихожу к нему в гости.

Узкая комната с грязным полом, с диваном, в углу которого неподвижно сижу. Говорить не хочу и не отваживаюсь молчать. Попав в клетку к тигру, вряд ли захочется с ним беседовать, даже если знаешь, что на людей он не бросается.

Тигриного, впрочем, в нем нет, скорее волчье.

Он ставит передо мной табуретку, застилает хорошей белой бумагой для рисования и подает чай. К чаю ничего нет. Но разговор уместен только светский.

Для этого нужно изъять из своей речи хотя бы всё то, чем пропитал её мой интерес к психологии. Потому что для меня психология — страсть и песня, а для него — служба.

Всё же по инерции говорю о науке. Ведь именно желание говорить на эти темы с людьми посвященными заставило меня искать знакомства с психологами.

Однако, население НИИ, в котором я его нашла, его окружение составляли люди, для которых наука была всего лишь куском хлеба, иногда случайным, чаще — вынужденным; куском хлеба, предначертанным их происхождением от определенного вида родителей. Здесь я узнала, что говорить о науке — дурной тон.

Но не только это. Всякое слово, означающее что-нибудь

происходящее внутри человека, ощущалось с ним чудовищно неуместным. Я эти слова все-таки произношу — мне не перестроиться. И тогда он держится так, словно я не сказала ничего.

А его речь напоминает книги, написанные на языках, ещё не включивших в себя название переживаний. Какой-нибудь древний эпос, где люди только действуют и ничего не чувствуют.

А на спинке дивана — том Марселя Пруста. Издание 30-х годов.

Я не боюсь, что, подобно сослуживцам, он найдет смешными разговоры о науке. Но довольно и того, что он знает, как отнеслись бы они. Да и светский тон не может его не привлекать.

Но моя трехсменная работа на заводе и наука в качестве страсти — не та почва, на которой произрастает светскость. Её имитация требует усилий, а у меня и так твердеют губы.

В отличие от сослуживцев, он относится к науке без иронии. Но моя и его наука — непересекающиеся плоскости. У него — психология — мыслительная конструкция, напоминающая мне геометрию, моя для него — род шаманства. Ничего похожего на спор, но разговор неуклюзий и скучный.

Но с явным интересом он слушает рассказ о моих соседях по квартире. Тема актуальная: в квартире, где он снимает комнату, проживает 46 человек.

А я не могу постичь, как можно так интересоваться поведением людей и не хотеть знать, почему они так себя ведут.

Словно он натуралист, для которого чувства насекомых — материя столь спекулятивная, что с ней неприлично иметь дело.

И все-таки что-то мешает мне видеть тут только сознание, столь недавно появившееся на свет, что оно ещё не знает интереса к внутреннему миру. И пропускает всё, что его касается, как ребенок — скучное место в книге.

Скорее, я чувствовала себя так, будто столкнулась с родом стыдливости, запрещающей говорить о том, что скрывается под покровом человеческих поступков. Окаменевшей, неодолимой стыдливости.

С ним я чувствую всё психологическое — непристойным.

Для меня психика – точка отсчета, система координат, на которой должно откладываться любое знание. Без учета психической реальности не может быть справедливости по отношению к человеку.

Но тут я начинаю думать, что есть некое правило, может быть, нравственный принцип, запрещающий знать о человеке больше, чем открывается в его поступках. И если мы этот принцип нарушаем, если не можем его не нарушать, то не должно нарушать его без чувства вины, и не должно чувствовать себя при этом победителем.

У него почти изящная в своей простоте и отчетливости речь. И опять никаких намеков на адские силы. Или это извечная любовь хаоса к порядку?

Казалось, что сознание, из которого появляются слова, никогда не погружается вглубь собственного существа. Сознание было таким ясным и рассудочным, каким оно может быть лишь при полной обособленности от человеческой природы.

Он не знает названия своим ощущениям. Не может знать. И как будто не хочет мостов между хаотической, нерасчлененной глубиной своего существа и сознанием.

Только сознание и стихия. Кажется, что нет промежуточного слоя. Того слоя, где эмоции кристаллизуются, где они имеют имена, где они, а не рассудок связывают человека с миром.

И если он все-таки произносил слова, означающие что-нибудь, только наполовину принадлежащее внешней жизни, но имеющее корни в этом слое, они звучали, как наивная ложь. Он говорил: "друзья" – словно это название поведения, но не чувство, не душевная потребность. Словно наименование обычая, обязательного ритуала, которому он подчинился, когда понял, что должен подчиниться обычаям, и как-то вычислил, кого из своих знакомых можно обозначить таким словом. Я не могла представить, что чувство дружбы ему знакомо, что в нем кто-то мог видеть друга, что кто-то мог быть ему другом.

У него лицо приговоренного к пожизненному одиночеству.

"Я из Печоры", – сказал он как-то. И мгновенно я увидела его прообраз в иноке – впалые щеки, узкий рот, глубоко

сидящие, видевшие чёрта глаза... Хотя, может, он сразу же пояснил, что это не Печоры в Псковской области, где монастырь, а Печора на севере, где лагеря. А о том, что в лагере и был зачат, что вырос в бараке, где жили бывшие заключенные, он рассказал мне позднее. Но неважно, когда я узнала об этом, ведь все равно я не смогла бы представить, с чем приезжает мальчик из такого места.

Но по собственному опыту я знала, что такое Ленинград для тех, кто приехал сюда из маленького города, где мир, о котором читаешь, и мир, в котором живешь, не имеют точек соприкосновения.

Когда оказываешься здесь, где столько всего, принадлежащего только миру книг, то тебе кажется, что здесь всё осуществимо.

И мне легко было угадать, что притягивает такого мальчика, и как сильно притягивает, если в нем есть сила желаний. И если эти желания не процежены через книги об утраченных иллюзиях, которые я прочла в своем маленьком городе.

Я знаю, что не могу его интересовать, — на мне ведь нет фирменных знаков. Я не актриса, не балерина и не светская дама. Я — только курьёз.

Дело не в том, что передо мной был поверхностный судья или человек, в принципе не способный что-то оценить. Просто он и не подумает оценивать. Его это не интересовало. Просто его интересовало только то, что уже оценили. И поскольку оценили.

Это был ученик. В торжественном смысле этого слова. И когда он произносил "мой учитель", то в голосе его фальшь сменилась наивностью, и я верила в действительность этих отношений и представляла, как это было, как встречались двое, из которых только один говорил, а другой всегда молча слушал.

Для меня, с моей потребностью говорить, эта способность к молчанию была таинственной и дьявольской. Может, потому, что я любила читать, а книги пишут болтливые люди и, в основном, о себе подобных.

Его картины тоже не высказывали ничего. Хотя он и повторил:

рял, что живолись - это "другой язык". Язык чего? Вот, кажется, всё, что я услышала от него об искусстве.

Кроме дивана и табуреток, в комнате были бутылки. Потому, что он пил, и потому, что бутылки были первым предметом, который он стал изображать.

В дополнение к бутылкам, приношу ему колбы различной формы из химической лаборатории, наслаждаясь этим причастием к его жизни, более реальным, чем моё сидение на диване.

Он ~~многи~~ часто говорит о своей склонности к пьянству. Вот так прозаически и буквально находил выход "дионасовское начало". И, вероятно, был пьян, когда я застала его возбужденным, разговорчивым, с налетом сумасшедшей дурашливости. А глаза, которые, наконец, смотрели на меня, были такими скорбными, что хотелось тут же умереть за него. Это было тяжелое зрелище, и все-таки мне много, много легче, чем обычно - я не придавлена его самообладанием.

Но я не знала тут границ между самообладанием и скованностью. Чем называть - сдержанностью или скованностью то в нём, из-за чего не было никакой заслуги в моей сдержанности, ибо это, конечно, не сдержанность, а скованность? И выплыснуть то, что в другое время казалось немыслимым удержать, мне было так же невозможно, как пройтись по потолку.

Получалось какое-то ужасное равновесие. И, наконец, во всём этом стало проглядывать что-то надежное.

Хотя никогда из пребывания в одной комнате с ним не образовывалось "мы". Нельзя было поверить в себя, как в нечто индивидуальное, в то, что какая-нибудь малость в его поведении вызвана именно мной. Я просто видела представление, преимущественно пантомиму, под названием: "обращение с дамой". Столько жеста, столько действий, символизирующих внимание.

Но, может, благодаря лишь вежливости всё это и могло длиться.

Всё же в вежливости было как бы согласие. И даже старание. Казалось, что вежливость для него не только способ не подпускать людей слишком близко, но и единственное средство не совсем отталкивать.

Должно быть, люди все-таки нужны ему. Должно быть, это-как земное притяжение - исключений не имеет, и нужда в людях неизбежна и тут, где они не вызывают жалости, гнева или ещё каких-либо чувств, нарушающих нашу отдельность. И где нет той почти химической потребности, когда организм может нормально функционировать, лишь принимая дозы присутствия других.

Но волна, изредка пробегающая по длинному телу, объясняла нарочитость его вежливости тем, что он имел какое-то отношение к породе извилистых, склонных к угодливо-сладчавому тону людей.

Конечно, весь набор жестов он не так давно выучил. Но это ему нравилось - очень. И проделывал он всё это в угоду прежде всего самому себе.

По этой накипи я ступаю, не веря и уже почти веря, что всё это может длиться.

Он младше меня на три года. Пытаясь сделать свою любовь ручной, найти ей форму, с которой можно было бы ужиться, я ловила этот оттенок своих чувств, их родственность, если не материнской любви, то хотя бы любви тети к племяннику. И если сосредоточиться на этом, то вся несимметричность отношений законна и почти не оскорбительна. Тете ведь достаточно, чтобы принимали её любовь, помощь, подарки. Ей только нужно, чтобы позволяли.

Он позволял. Меня это удивляло...

Вдруг посветлело.

Иногда это бывает. Наступает что-то похожее на счастье. Столь похожее, что счастьем это не называешь только потому, что для него нет никаких оснований.

И можно лишь гадать, отчего это - от удивления, от странной надёжности, от весны.

И тут же, в разгар эйфории всё рухнуло, потому что его учивость не была беспрерывна. Он не сумел, у него не получилось или он не захотел - но я думаю только о том, что - не захотел. Я не могу не вставить всё это в один-единственный контекст. Потому что мы стыдимся любви больше, чем по-

рока и преступления. Мы убеждены, что за любовь заплатят оскорблением. Это какой-то математический закон, и он должен был проявиться, даже если любимый не из плоти и крови, а из какого-то неизвестного вещества.

Мы столкнулись в Сайгоне случайно. Я о чем-то спросила, он чуть ответил и отошел с кем-то, не извинившись и не простясь. Лицо у него в эту минуту было как из железа, это не очень сильный поступок для монстра, но я несколько часов что-то оплакиваю.

Чем же себя утешить, кроме мысли, что этого больше не будет. Что всё кончится сейчас... Я оплакиваю конец, я надеюсь, что это — конец. Я надеюсь, что оскорбление — это тоже лекарство от любви.

Через несколько дней отправляю ему с книгой, которую должна вернуть, испанную тетрадь. Зная, что прочтет он её только глазами. Что души у него — как у молодого Баярда Сарториса — нет.

Это был бунт против неестественного для меня молчания. Это была отмашка — целый год всё определялось тем, каков он, но не тем, какова я.

Так я воспользовалась катастрофой. Если всё кончилось, то всё можно. "Всё" — это говорить. А если буду говорить, тогда уж точно — "всё".

После этого мне очень хотелось вести себя так, как ведут нормальные люди. Главным признаком нормального человека считается способность мириться с фактами. На этот раз я твердо намереваясь примириться с тем, что его нет в моей жизни.

Минута, когда факты не значат ничего, пришла через два месяца, я набираю номер, мне отвечают, что он тут больше не живет, что он женился и переехал к жене.

И я воображаю себе юное существо, милую девочку — непременно милую, непременно холодную и прозаическую настолько, чтобы видеть в нем лишь "интересного" — мальчика, мужчину — как она там это называет. И ни его существование, ни даже

присутствие не парализует её ужасом, и на расстоянии метра от него она останется звонкой и забавной. А главное — прозаической; декоративный брак с утопленницей можно сменить лишь на то, что имитирует обыкновенность.

Через несколько дней подтверждается: да, всё так, у неё <sup>небр</sup>ожена. Мне говорят, что она ~~высокая~~, тонкая, милая, что она — пианистка.

И за неё беспокоятся, а я думаю: это напрасно, за неё — не нужно, не очень нужно. В браке есть формалистика, формалистика — страсть его, он её изучит и будет привержен — не этой девочке, а браку, в который вступил.

А когда проглянет в нем иное лицо, она потерпит, сведет к чему-нибудь понятному.. Она всё может стерпеть, если может стерпеть могильный холод своего любимого. И это будет нечасто, он же превозмогает дикое в себе, ту диковинную стихию, что влекла меня, и вот сейчас это я люблю в нем больше всего: героизм самопреодоления. И ещё я теперь понимаю, что доброта в нем — не только маска, она в нем подлинная, хотя невообразимо холодная. И он учитыв, и признает права другого человека на всё, чего хочет сам, и он оставит ей то, что любому другому было бы необходимо отнять. Так что напрасно тревожатся за неё...

И всё же: что он может обещать женщине — кроме присутствия?

А ещё через месяц — телефон рядом, ещё надеюсь, что его нет на работе, что подойдет не он, и ещё успею положить трубку — как будто только примериваюсь броситься с какого-то этажа — если брошусь, то будет же, наконец, иначе — и он тут же поднимает трубку, и теперь уже разобьюсь, потому что слова: "Я хочу Вас видеть...". — Но это он умеет: оставлять всё, как есть, с ним всё можно и всё бесполезно, он отвечает так, будто я сказала, что хочу вернуть ему книгу, и через два часа мы сидим за столиком, я почти спокойна, ведь слова произнесены, а он избавляет меня от необходимости разговаривать, рассказывая что-то. Глаза из голубого металла смотрят на меня,

хотя и без выражения. Он говорит, что учится рисовать, что абстракция не для него, что он любит предмет.

Нужно смириться. Что тут сделаешь? Даже будь у меня на примете колдунья, я не пошла бы к ней за приворотным зельем. Тут не помогут ни колдовство, ни магия, ни гипноз.

Смириться. Я вроде ~~импринесен~~ смирялась. И тогда обнажалось – одиночество. Потому что этот человек, природа которого была так чужда, так непостижима, что я видела в нем нечеловека, был в то же время мне товарищем, единственным близким и понятным во всем доступном мне мире.

Близость и понятность заключалась в его стремлении стать художником, несмотря на то, что он уже попал в определенную жизненную клетку. В том, что он не мог согласиться на нетворческую жизнь.

Он преследует свою цель не добровольно, но сам преследуемый безымянной, неумолимой внутренней силой.

Дело не в таланте. Но в той судорожной силе, которая делает подвиг и преступление более легкими и понятными, чем подчинение обыденности.

Незадолго до этого я в первый раз побывала на официальной выставке неофициальных художников.

Много цветов и музыка. Может, поэтому я тут поняла, что выставка – это не только развешенные картины, но событие, чей-то праздник, чья-то победа.

Художники были тут же. Это делало зрителя как бы участником исторического события, и, одновременно, превращало в дурака.

Присутствие художников немного удовлетворяло любопытство, но очень стесняло душевную свободу.

Художник на выставке лишал меня возможности мимолетно обесценить то, что вижу. Тут находился человек, для которого был смысл и ценность в том, в чем для меня их не было. Для того, чтобы защитить эту ценность, он должен обесценить меня. Всё это молча, но происходит. Противоречие мешает, его хочет-

ся разрешить, кажешься себе ленивой, хотя прежде живопись никогда не была трудом, просто перед картиной ждешь, не заговорит ли она.

"Знать" я даже не хотела, оберегая свою непосредственность. А тут вдруг хочется понять - кажется, даже не живопись, а их точку зрения.

Наверно поэтому кто-то подходит к художнику и задает вопросы, без разрешения которых эти люди прекрасно обходятся всю остальную жизнь.

Хотя вопросы, в конце концов, всего лишь предлог - спрашивающему совершенно незачем знать то, о чем он спрашивает. К тому же это малодоступное искусство - спросить таким образом, чтобы тебе ответили именно то, о чем ты хочешь знать. Но есть другое, на самом деле нужное - побывать несколько минут с художником. Вопрос - игра и предлог, и люди соглашаются в этой игре на роль дураков, сознавая, что другой роли для них нет.

И всё же - даже если нет никакого желания разгадывать развешенные по стенам ребусы, пришедшие сюда люди - соучастники. К художникам их притягивает что-то другое.

Может, риск? Они ведь рискуют без всяких гарантий. Может, этот риск - то дорогое, что мы им оставили?

А они? Вот сейчас они нуждаются в зрителе. В том зрителе, которого не принимают в расчет. Сейчас - нуждаются.

Вскоре ещё выставка, на этот раз только абстракционистов. И смотреть было проще. Не нужно разгадывать. Тут я нашла для себя то, что показалось прекрасным: Михнов и Анатолий Васильев. Но Михнов расстроил: я увидела свободные и как бы нерукотворные сгустки цвета, здесь - сдержанного. Ни плоскости, ни геометрии. Это означало, что живопись, в которой отсутствует не только предмет, но и форма, не была изобретением моего художника. Увы, он несколько пал в моих глазах. Хотя это как-то странно - то, что в художнике мы ценим изобретателя.

Через год выставка у него, в той однокомнатной квартире, которая появилась благодаря браку. Мне очень хотелось посмотреть, что же он успел сделать и я решалась прийти в этот дом и увидеть его жену.

В комнате откуда-то явившийся овальный инкрустированный стол, два старинных стула с высокими спинками. Рояль, маленький диван — сложенная тахта, книжные полки на полу. Без люстры, занавесок, без дополнений.

Картины по ту сторону рояля, над диваном, на котором сейчас сидят. Передвигаться по оставшемуся пространству трудно — комната набита людьми.

Среди этого скопления появилась девочка в домашних тапочках, в вышедшей несколько лет назад из моды рифленочке и в немыслимых брюках.

Не могу поверить в то, что это и есть его жена — так она проста, никакой декоративности, сделанности, претензий. А выражению её лица можно дать лишь одно определение: оно было довольным.

У неё вид славного подростка, домашней девочки, в доме которой у взрослых происходит что-то интересное.

И всё же она явно живет в этой квартире, значит, это и есть женщина, повенчанная с инфернальным созданием.

Смотрю на картины — сквозь страх, сквозь досаду и скованность от того, что комната наполнена людьми, и я тут уже не невидимка, у меня есть своя смешная роль.

На картинах теперь предметы. Подбирались они по очень примитивному принципу: на одной — только зеленые бутылки в очень большом количестве, на другой — колбы, унесенные мною из лаборатории. Каждая бутылка и колба наполовину наполнены водой. Несколько картин напоминали старинный натюрморт — там набор предметов был более разнообразен, и они размещались на подносах. Но на каждой картине были предметы из одного материала — дерева, металла, хрустяля. Живопись отчетливая и гладкая, тщательно передающая материал.

Я слышу возгласы удивления по поводу перехода от бесфор-

менных пятен к натуральному и чуть ли не ювелирному изображению. Меня это не удивляет, главное осталось тем же, нет и намека на образ, предметы выглядят не менее отвлеченно, чем пятна.

Они не вызывали никаких ассоциаций. В них не было тепла, которое накапливается в предметах, живущих с человеком. И с землей они не связаны — ни силы притяжения, ни воздуха, ни глубины. И в расстановке ничего от непроизвольного, от того, что может быть застигнуто в действительности.

И всё же картины обрадовали меня тем, что мой пришелец, или, скорее, робот, забытый пришельцами, пережил первое чувство, хотя бы отдаленно похожее на земное — нежность, пусть не к органическому, но все-таки к земному — к форме бутылки, к поверхности стекла, к рефлексу на этой поверхности.

И был тут некий магнетизм. В доведенной до поэзии, само-достаточной, пронзительной любви к материалу, в этой слишком бескорыстной любви. А может, в красоте цвета. А может, в тишине и ненавязчивости. — Если можно знать, отчего исходит магнетизм.

Но было в этом что-то странное. То ли неудобное, то ли нетривиальное. Очень неловкой казалась расстановка предметов. Явно обдуманная, она была неуравновешенной и неубедительной.

Нет ритма, который соединил бы разобщенные предметы. Между ними нет никакой связи. Они стоят, соблюдая вежливую дистанцию, почти не заслоняя друг друга. По-видимому, он слишком уважал личность каждого предмета.

И чувство, что форма или фактура предмета выявляется формой или фактурой соседнего, было ему чуждо. Никаких сопоставлений, полтора десятка выписанных бутылок — вот и вся картина.

Он, вероятно, стремился к простоте. Но это выглядело не как простое, а как упрощенное.

Простой казалась его девочка. Её простота меня поразила. Такая естественная и удобная. Конечно, с ней он будет всегда. Но как это могло случиться, как она могла его привлечь?

Наверно, кто-нибудь сказал ему, что она талантлива. Я

уже решила, что это не так. Она предложила мне сесть с ней на один стул — может ли талантливый человек быть столь нечувствителен?

А ему, чтобы считать человека талантливым, достаточно, чтобы кто-нибудь сказал об этом.

И что-то мне в ней не понравилось — что-то кроме того, что она его жена.

Наконец, я поняла: у неё как бы не было глаз на лице.

Его абстракции являли мне нечто удивительное, свободное и страстное. А эти композиции — красивые, но мертвенные, бедные, наивные, скованные — были копией той его оболочки, которую я без колебания принимала только за оболочку, потому что были его абстракции.

Но ведь не прошло и двух лет с тех пор, как он попытался нарисовать первую бутылку. Не прошло и года с тех пор, как он нарисовал что-то ещё. Это производило впечатление. К тому же, он не был ни дворником, ни сторожем, ни лифтером. Он занимался наукой. По слухам, он и там был умным. Правда, неизвестно, сколько для этого нужно ума. Может, достаточно помнить таблицу умножения.

Он занимается живописью, наукой, пьет, много общается... Я рассказываю об этом и неизменно слышу: "Это какой-то возрожденческий человек".

Ради того, чтобы заниматься искусством, люди уходят в котельные и в дворники. Конечно, это реальнее, чем пытаться что-то сделать при восьмичасовом рабочем дне с двумя выходными в неделю. Но мне казалось, что таким образом они все же из реальности выпадают. Потому-что — отстраняются.

Благодаря чуть теплящемуся знакомству с ним я что-то узнала о той самодеятельной художественной жизни, которая существует лишь для художников и их знакомых.

Как-то он дал мне адреса двух выставок.

Первую устроили какие-то мальчики, новорожденные левые, в узкой прихожей чьей-то квартиры, воспользовавшись отлучкой

то ли соседей, то ли родителей.

Радостью, с которой он вступил на крестный путь, удивил меня тот, кто был тут главным лицом — кудрявый, округлый, живой подросток, автор бесчисленных пейзажей и портретов, устойчиво составленных из геометрических фигур. Он явно был наделен каким-то сильным, но, вероятно, к живописи отношения не имеющим даром. И было не по себе от его увлеченности, словно жизнерадостный младенец завладел чем-то таким, чего детям не дают в руки, и теперь полностью поглощен своей опасной забавой. И никто не в силах ему помешать.

По другому адресу некая супружеская пара, как выяснилось, юристы, предоставила для выставки свою запущенную квартиру. Картины висели в прихожей и в одной из комнат, где был лишь стол, покрытый зеленою бархатной скатертью.

На этом пространстве выставилось 15 художников. И он среди них. Мешанина разнообразие, среди которого показалась изысканной натурально изображенная трава. Его абстракции, затянутые со всех сторон, тут не смотрелись. Или, может, не лучшие работы?

Вот он появился среди наполнившей комнату толпы — пронзительно стройный, с резким и отчужденным лицом. Подошел ко мне. Я сказала: "Мне тут нравится". Он: "Мне — нет". Недоволен пленкой с Высоцким. Высоцкий в самом деле был всему этому как-то не созвучен.

"Почему они этим занимаются?" — спросила я. Судя по лицам хозяев, к искусству они не имели никакого отношения. "Потом им дарят картины." Но мне показалось, что они просто рады тому, что к ним пришли люди.

Спросил, что понравилось мне. Приходится что-то отвечать, хотя я вовсе не убеждена, что хорошо то, на что мне приятно смотреть. Могу с уверенностью сказать лишь о том, что мне не по вкусу. Мне не приятны ужасы и колючки. Но нравится мероприятие. Возможность увидеть, чем занимаются люди.

Выбираю, что помягче и хвалю.

Он предложил мне тотчас поехать еще на одну выставку. Там дверь открыл высокий, броско красивый и очень строгий че-

ловек. Он впускает нас и уходит на кухню вести, судя по его виду, весьма серьезные разговоры.

В комнате холсты занимают четыре стены, в том числе и ту, где должно быть окно. На столе слайды, альбомы с фотографиями и кое-какими сведениями о художниках.

В экспозиции преобладал живописец, безмерно щедрый на декоративный материал. Фрагменты старинной архитектуры, типажи старинных картин, цветы, плоды, груди, капли слез. Кости, смотревшиеся, как украшения; внутренности, сходные с плодами, растениями, облаками. Что-то клубилось, твердь и живая плоть расслаивалась, раскальвалась посуда. Куски ослепительных нагих тел былисыпаны лепестками цветов, драгоценностями, каплями и подтеками вишневой крови. Возникали стеклянные шары с прожилками, бокалы с вином, валялись стеклянные радужные оболочки глаз...

Несмотря на незаурядную изобретательность, воображение, а может, и присутствие поэтической мысли – всё это напоминало коврик с лебедями.

Поэтому серьезность хозяина вызывала недоумение – наивная или напрасная серьезность.

У него была рыжая борода и шапка черных кудрей. Он был тонок и горд – как изображение Иоанна Крестителя. Словно и его создал тот же щедрый на эффекты художник.

В этом доме не было полного разнобоя, тут был виден определенный отбор. Выставленные здесь художники явно хотели быть красивыми.

Вроде и я хотела того же от живописи, но, глядя на результат их усилий, я думала, что красоту, вероятно, нельзя приготовить, подобно обеду из готовых продуктов. То ли она рождается, как ребенок, наследуя явные и скрытые свойства родителей, то ли возникает как драгоценный побочный продукт при выполнении совсем других задач.

Когда мы уходили, у двери, хозяин делал внушение моему спутнику по поводу того, как должны бороться за себя художники. Я удивилась: с высоты какой позиции можно так с художником говорить? В его тоне не было никакого почтения.

Но мой художник слушал нотацию не только без всякого сопротивления, но даже с неким предательским смешком — как будто выговаривали кому-то, с кем он был только что заодно.

"Кто он?" — спросила я, когда мы вышли на улицу. — "Он — подвижник." /Как говорят: "это — ворона". С важностью, но без пафоса./

Без подвижников я тосковала. Но что если соединить подвижничество с подтеками вишневого киселя, изображающего кровь, с перстами, принимающими изысканные позы, с огромными, красивыми, как глазной протез, очами?

Снова выставка у него. Я пришла с розами. Розы, казалось мне, ему подходят, несмотря на барочную пышность, потому что розы — официально красивы. Едва нашла их, мне достались мелкие и необычные: огненно-розовые. На рынке их завернули в старую газету. За газету прошу у него прощения, а он говорит: "Как это красиво". И я увидела: розы на фоне старой мятой газеты — как это красиво.

Он на этот раз в черном костюме с белой рубашкой и с большой бархатной бабочкой. Одно крыло у бабочки поникло. Мне не нравится преображение демона в нечто концертное. И рояль тут. Жена — кто-то там в консерватории.

На картинах уменьшилось количество предметов и исчезли антикварные. И то немногое, что еще было, кроме фона. Только фон и предмет. Самое большое — поверхность стола, обращенная к зрителю. Иногда она покрыта скатертью. Яйца на белой скатерти. Одна рыба на подносе. Яблоки и яйца в среде.

Граненые стаканы и яйца красивы, как драгоценности.

В среде предметы свободно плавали, и это вызвало во мне облегчение. Пока они находились на поверхности стола, в этом было какое-то ошелепенелое притворство. Не было земного тяготения и потому причины им там находиться. Появившаяся свобода немного приближала к свободе абстрактных композиций. Но это всё обескураживало тем, что ещё меньше было похоже на картину. Прежде это, кажется, называлось этюдом.

Однако выяснилось, что он не вовсе свободен от забот о

содержании. Он объяснил, что яйцо — это символ жизни, и что рыба — символ Христа. Яйцо у него очень красивое. Но это, несомненно, финское яйцо за 90 к., и до жизни этому художнику нет никакого дела. И рыба красива, но она явно холодного копчения, и что ему за дело до Христа? А главное — какое ему дело до символов?

Как он непреднамерен в своей безжизненности — он даже не отдает себе в ней отчета.

Говорит, что хочет написать натюрморт из масонских предметов. И спрашивает, не могу ли я достать книги о масонах? Конечно, могу.

Ради книг о масонах мы встречаемся, пьем кофе, и он говорит, что приедет ко мне в гости посмотреть, как я устроилась. У меня появилась квартира — у черта на куличках.

Но он не позвонил в обещанное время. Вот чего я не могла выносить. И сила мучений уже озлобила меня. Ярость, которую нельзя обратить против другого человека — нельзя же сердиться на того, кого любишь холодным и бесчеловечным. — обратилась против самой страсти.

Но страсть ни растерзать, ни разорвать на части. Она надежно защищена, укрыта в собственном теле.

Убить себя. Не покончить собой от горя, но убить в ярости, в наказание. За что? За свое стремление к нему, за неодолимость стремления. Я чувствовала, что так и будет, если сделаю еще шаг к нему.

Поэтому, — думала я, — можно быть спокойной. То, что я переживаю, я переживаю в последний раз.

Но книги о масонах были выписаны из публики, и нужно было все-таки их вернуть перед отпуском. Он уже в отпуске, у него нет телефона, и я отправляюсь к нему. Надеясь, что сама невозможность этого действия, это предельное насилие над собой выработает в организме что-то, что убьет страсть.

Он открывает дверь — в свитере цвета асфальта и с лицом цвета этого свитера. Сказал только: "Раздевайтесь." Я отказалась. Принес книги и попросил его подождать. Он едва говорил. Мы вышли. На остановке он спросил: "Хотите на выставку?" На

На выставку я хотела даже в этом состоянии. Мы молча пересекли город. Недалеко от дома, в который мы ехали, он вдруг сказал тихим и очень кротким голосом: "Очень хочется выпить", а потом: "Давайте сядем". Мы сели на скамейку, и он опять кротко: "Выпейте глоток, может будет легче". Во фляжке был ром. Мне стало немного смешно.

Однокомнатная квартира на краю города. Хозяйка хрупкая, с изящной головкой на очень высокой, точеной шее. Белые волосики, очки в тонкой металлической оправе, черное, длинное, отнюдь не простое, немного порванное и несомненно присланное из Парижа платье. Лица я не могу разглядеть, хотя и не понимаю, что его скрывает. Грим почти незаметен. Но всё в ней, даже кофейные глаза, кажется ненатуральным. Что-то довольно изысканное вместо лица, какое-то сомовское рококо с очень тонким вздернутым носом. Говорит почему-то с польским акцентом.

Комната не лишена мебели, но и мебель как-то сумели сделать незаметной. На стенах что-то серебрилось, мерцало — что-то между импрессионизмом и беспредметной живописью. Красивое, светлое, уютное.

Вялый человек с мягким лицом — автор картин и муж хозяйки.

Тут висят ещё чьи-то поникшие и тоже вялые ангелы и его абстракции. Я в них погружаюсь, в это волшебство — ну, как сердиться на него, если — такое?

Пришли две дамы смотреть выставку.

Ухожу на кухню и там немного беседую с хозяйкой. Она говорит: "Когда уйдут чужие, мы попьем чай. У меня есть сухарики". Но я не остаюсь ждать этого любопытного чаепития. Я тут чужая, и я об этом сожалею. Хотя истерички всех рангов мне невыносимы. Я чужая, это в последний раз, я больше никогда не коснусь этой совершенно неведомой посторонним жизни. Похороню часть себя, влечения, о котором не говорят, в котором не сознаются. И я знаю, что кроме истерической потребности чем-то — не быть, но — казаться, в ней тоже есть: также мания; и её притягивают художники.

Ухожу, он помогает мне одеться и снова говорит: "Я прие-

ду. Я тогда не смог".

Он приехал через год.

Перед этим я привела к нему девушку, которая купила у него картину. Когда мы собрались уходить, он сказал мне: "Вы, может, останетесь?"

Он накрывает на стол. Скоро приходит жена, мы пьем вино втроем. Но она только пригубила, и я связываю это с её округлившейся талией.

У неё прелестно-длинная спина, волосы, руки. Теперь вижу, что — красивое лицо. Сразу я этого не увидела — так же, как когда-то с ним. Наверное, потому, что в детстве считала красивыми только тех, у кого красивые глаза. А тут вместо глаз немного бурой неглубокой воды. Но благодаря таким глазам, невыразительности, она меньше мешает.

Она заговорила и понравилась мне. Я стараюсь забыть о том, какое она совершила преступление, став его женой, и продолжает совершать, прикасаясь к нему, — не может же она не прикасаться к нему никогда.

И все-таки: как он мог... Не иначе, как кто-то сказал ему: "Она стройна, красива, талантлива."

А может, я напрасно, вот они сидят сейчас с одинаково длинными телами и одинаково холодными лицами, может, он в ней нашел себе товарища, существа, сходное в реакциях, порождаемых холодом. Хотя в её холода нет ничего странного, просто нечувствительность, просто она ребенком никогда не болела.

Но вот она заговорила о чем-то происходящем на её службе, в консерватории. О ком-то злословила, кого-то передразнивала. И на лице его сразу — такое внимание, что мне показалось: вот в чем дело, вот для этого он и женился, чтобы всю жизнь слушать, как она рассказывает о происходящем в том, высшем свете. А её речь тут так выработана, она, наверное, всю жизнь этим занимается: злословит, передразнивает, рассказывая о событиях последнего дня сначала в музыкальной

школе, потом в консерватории...

Она вышла из комнаты, и он вдруг предложил мне взять несколько его работ и повесить у себя. Я не очень вникаю в суть его предложения, для меня суть в том, что в его сознании я как-то существую, и это меня потрясает.

Он сказал, что приедет ко мне. И вот я одержима тем, чтобы привести квартиру в состояние, созвучное его духу — одновременно эстетскому и аскетическому. Каждый клочок я хочу превратить в натюрморт. И делаю открытия — обнаруживаю незаурядные декоративные достоинства чеснока и стеклянных банок.

Когда я ухожу гулять — начало мая, нежная листва и мусор, — мне хочется убрать парк и лес к его приезду.

Эстетство — это мне было в нем понятно, и с этим можно было вступить в общение. У себя дома. Подать ему знак — не словами — но тончайшим фарфором кофейной чашки, драгоценной тканью салфетки. Вниманием к каждой вещи.

Эстетические претензии ко всему — здесь было наше средство, черта, на которой мы сходились. Только он переживал то, чего я бы не заметила в силу крайней простоты и бедности. Может, форму стола. Воду, разлитую на столе. Именно это было в нем первичным, никем невшенным.

Он осмотрел квартиру и, кажется, остался доволен. И сказал: "Меняйтесь в центр, мы устроим салон".

"Салон", оказывается, означало: у меня будут висеть картины, и будут приходить люди их смотреть.

Звучит как будто пристойно, но мне-то при этом надлежало стать хозяйкой салона. Я видела, что для него в этом нет ровно ничего карикатурного. Он даже сказал, что для меня это может быть выходом в жизни.

Я слушала и думала, что выходом в жизни для меня салон не может быть, но это единственный выход для моей любви. Он предлагал то, что должно связать нас. Но я же знала, что всё основано на глубоко неверном допущении.

Была предыстория у этого совершенно неожиданного для меня предложения. Те покупатели, которых я к нему приводила.

То были подставные лица. Они играли роль по моей прось-

бе. Они выбирали что-нибудь, и я им эту работу дарила. Платила я, но изображалось, что платят они. Я извлекала тут безупречный повод увидеть его. И то, что в домах, куда я приходила, появились его пятна, ненавязчиво вписывавшиеся в любое жилье. Так моя любовь переставала быть чем-то совсем бесплотным.

А он решил, что я подхожу для роли посредника по продаже картин, а заодно и пропагандиста живописи.

Он всегда принимал людей такими, какими им вздумалось казаться. Он даже ту даму, что из истерических соображений говорила с акцентом, принимал за польку.

Пока он привез свои абстракции и графику друга. Развесил, и моя комната стала очень красивой.

Скоро состоялась первая официальная выставка, в которой он участвовал.

Три художника выставили натюрморт. И была даже статья в газете, там это было названо "прекрасным камерным трио, единым по тональности, но разнообразным по тембру".

Выставка и впрямь получилась приятной. Кроме жанра, художников объединиладержанность и как бы упрощенность манеры. Но ироничные, негромкие, для меня слишком приземленные работы тех двоих подчеркнули его смертельную серьзность, эстетство и холодное исступление.

Его я нашла на выставке совершенно пьяным. Он сказал, что пришли художники и принесли портфель с портвейном — вместе цветов. С ним рядом сидел мальчик мрачного цыганского вида.

Пока выставка длилась, мне звонили знакомые и говорили, что им понравились его работы. А если они кому-то нравились не совсем, я начинала видеть в этом человеке неведомые мне прежде пороки.

Хотя и для меня эти картины были далеко не столь хороши, как абстракции. В них была сила, но не несомненность. Но я верила, что это только учеба, что впереди — та свобода полета, что в его абстракциях.

В день закрытия выставки у художников был банкет. Почему-то он пригласил меня туда.

Ну вот, сбылась, наконец, мечта идиотки - я в мастерской. В двух небольших комнатах - плоских коробках - масса народа. Какая-то причуда архитектуры - потолок могу достать рукой даже я, хотя это не мансарда. Нужно подняться на уровень бельэтажа, открыть дверь, и сразу ещё несколько крутых ступенек. Окно в форме половинки круглого хлеба и немногим больше.

Тут, видно, собрались исключительно люди искусства, совмещающие служение ему с работой в котельных. Разбившись на группы в два-три человека, они беседуют.

Мне страшно интересно, о чём они говорят? Но я не могу этого слышать. Я тут посторонний человек. Хотя он и пытается представить меня кому-то, как крупного любителя живописи. Видно, просто в качестве человека я вызвать интерес не могу. И даже подойти на такое расстояние, чтобы услышать, о чём говорят. В качестве, например, личности. А я-то считаю, что главная ценность - это личность. Может быть. Но она не повод для общения.

Так что единственное, что я услышала, это чтение пьесы. Сочинил её человек с замечательной фамилией Гаврильчик и с чудесным, очень похожим на свою фамилию, лицом. Само лицоказалось произведением искусства, портретом, написанным превосходным примитивом - так в нем всё было выразительно и подчёркнуто. Даже радужная оболочка его светлых, красивых, очень человеческих глаз была окантована черным.

В пьесе были следующие действующие лица: Пушкин, царь, Аракчеев, Тынянов, Павлик Морозов, Тимур и его команда. Местом действия был объявлен Васильевский остров, временем - 1979 г. Тимур, его команда и Павлик Морозов спасают Пушкина от Дантеса. Пьеса была очень смешная и неприличная.

Как при этом был возбужден мой холодный мальчик! Вот, что его трогает: кто-то сочинил пьесу и идет чтение.

Жена его, теперь с большим животом, тоже была здесь. Он, что называется, уделял ей внимание. "Верочка, хотите минеральной воды?" - несколько театрально кричал он через комнату. Он говорил ей "Вы".

Она позвала его, что-то сказала, и он сообщил мне, что сейчас поедем к нему.

Но сначала он повел нас к двум художникам, живущим по-соседству.

Картины плотного мальчика с восточным лицом удивили меня неожиданным сходством со старинной живописью. Они напоминали что-то нидерландское, может быть, "мастера зимних пейзажей". Только природа была у него подчеркнуто мертвой, с сухими деревьями и без примет времени года.

Второй художник не понравился мне решительно. Это был тот самый мальчик с недобрьими цыганскими глазами. Он писал осколки, что-то рваное, гигантские вилки, вонзенные в опустевшую землю. Та способность говорить о жестокости, которая поражала меня в средствах массовой коммуникации.

Говорю своему спутнику, что мне это не нравится. "Но живопись, живопись!" - восклицает он, сверкая лицом. Я не могу воспринимать живопись вне человеческого содержания. Или такую - не могу. И потом, что хорошего в этой живописи, она - просто гладкая. Но хороша его способность радоваться чужой живописи.

К нему я не поехала в этот вечер - ещё не привыкла к обществу Верочки. Но на другой день захожу в НИИ, чтобы коварно воспользоваться состоянием большей доступности, в котором находится человек во время похмелья. Мы идем пить кофе.

И он показывает мне несколько отзывов, написанных на выставке. Какие-то женщины признаются: "меня поразило, что на земле живет такой одинокий и такой чистый человек". "Меня поразило, что на свете существует такое одиночество и такое отчаяние."

Я знала, что это написано о человеке, у которого есть бодрая и качественная мать, бодрая и качественная жена, о человеке, который на каждом шагу говорит о ком-нибудь: "Это мой друг".

Этот человек не отказывался иметь дело с сильно влюбленной в него женщиной.

Я знала ещё, что он не хотел передать ни одиночества, ни отчаянья. Он ничего не хотел, кроме красоты. Красота по-

лучалась. Не оттого ли, что было истинное отчаяние и одиночество, и нежность, и чистота...

Но как выдавало себя одиночество?

Одно яблоко на скатерти? Предметы вне атмосферы? Фактура вне пространства? Разобщенность всего со всем? Не соприкасающиеся предметы? Разобщенность предмета с мыслью?

Нет ритма — мир не пульсирует. Нет ни драмы, ни конфликта.

Бездыханный мир.

Это лето. Выставка и диссертация, которую он должен был закончить к осени.

И две тональности. Одна связана с выставкой и с Васильевским островом, где живет Гаврильчик и эти мальчики. И когда я видела его, погруженного в хлопоты по устройству выставки, он даже пересказал мне смешную матерную частушку, чего с ним никогда не бывало. Услышал он её, конечно, на Васильевском острове, а может, её и сочинил Гаврильчик, и как-то мы с ним туда ездили, пили с Гаврильчиком портвейн, и он сказал обо мне: "Да, она — крутая", и предложил в мою честь тост: "За редкого человека, который хорошо относится к художникам".

Но вот звоню ему на службу, и мы идем пить кофе в Дом писателей. Молодой преуспевающий ученый, суховатый и элегантный, уделяет мне своё холодное внимание. Строгий темный костюм, к кофе он берет коньяк, можно поклясться, что если ему и известны выражения "крутая" или "капуста", то уж употреблять он их не станет никогда. И я не могу придумать, о чем с ним говорить. Всё, что я могла бы сказать сегодня, предназначалось художнику и тут звучало бы неблагопристойно.

И никакого маскарада не чувствуется, скорее там, у Гаврильчика ощущалось напряжение и немного игра. Или это тот грим человека преуспевающего, — который ему больше нравится?

Он говорит, что работает по 12 часов в сутки, и то, что он делает, ему не неприятно. Его энергия, его пресловутая энергия.

А я в это лето приглашаю гостей смотреть картины.

В моем доме поселились его картины, дом мой — храм, и я в нем — служитель. Вместо того, чтобы переводить Юнга,

чем я до того занималась по выходным с чувством, что это самое приятное и нужное мне дело, я всё время чищу квартиру.

Об отношениях Юнга с богом с ним не поговоришь.

И размышляю о том, что такое салон, и чем он может быть сейчас.

Год, между прочим, 1979. Антикварные магазины и комиссионки совершенно опустели.

Страсть извлекать из сундуков и комиссионок старые вещи уже переходила в интерес к антикварным формам жизни.

Но всё же, как ни повторяются моды, женщины не рисуют носить старые платья. А тут — примерить канувший в вечность образ жизни.

Нельзя без всякой почвы создать что-то несмешное. Нельзя стать хозяйкой салона. И даже нельзя подобную роль успешно играть. Лишь выносливость истерички может позволить сделять столь обретенную игру — образом жизни.

Но я пыталась — ибо не могла так просто отвергнуть то единственное, что он мне предлагал — увидеть в салоне не пародию на светскую жизнь, но думать о конструктивном, о том, например, что нужны места, где соединялись бы художники и те, кто их любит.

Стены человеческого жилья были прежде естественным приютом для картин. И если на выставке общий шум не позволяет отличить живое от мертвого, то дома я смогу услышать, дышат ли они.

И все-таки я не хотела жертвовать своим жилищем, повесив в нем то, что лишило бы уюта.

Дом должен быть уютным — это было почти программное требование, родившееся от вчувствования в идею культуры. Теперь я именно этим и занималась, услышав из его уст слово "культура", произнесенное так, что стало понятно: это не только объект его стремлений, но уже идея, его система координат, оформление его духовной жизни. То был новый компонент в его психике, некий намек на идеальное.

Тут было чем заняться. И это занятие могло заполнить бесконечность.

Однако понимая, что для него культура означает непременно что-то овеществленное — написанную картину, архитектуру построенного здания, напечатанную книгу, я всё же перебрасывалась к предметам более подвижным, психологическим и более для меня реальным — к тому, что есть от культуры в отношениях людей, в их чувствах, в формах общественной жизни.

Культура, мне казалось, предполагает умение использовать вещи по назначению и способность наслаждаться ими. Неуютное жилье — отрицает культуру, а какой же это уют, если я повешу в своей комнате изображение гигантских вилок, пронзающих омертвевшую землю.

Эти ужасы не то, чтобы пугали — они вызывали отвращение. Ужасы в живописи были мне не нужны. И без того ужас пропитал жизнь — стоило включить радио или нечаянно сходить в кино. А иногда просто взглянуть в лицо моего современника.

На ужасы имел право мой любимый.

Я ведь могу допустить эстетизацию черт знает чего, но не моду на эстетизацию черт знает чего. Могу допустить жестокость и преступление, но не моду на жестокость и преступление.

Думая об этом, я видела, как превращаюсь в цензора. Чтобы попасть в мой дом, картина должна пройти цензуру. Проверку на совместимость с моей комнатой. А если она создавалась не ради стен жилья?

Но нельзя же принимать то, что отвергаешь. Не оставлять себе права отвергать. Зачем искусство, если и оно лишает свободы?

Есть что-то глубоко негармоничное в том, чтобы представлять стены без чувства родства и любви. Чтобы у себя дома быть объективной.

Но что я знаю заранее? Рисунки его друга, развешенные в моей комнате, показались мне вначале банальными. Но прошло несколько дней и я поняла, что ошиблась.

Лица — мужские и женские. Утонченные, небрежные и чувственные. Лишенные твердости и мужества, беспредельно слабые и беспредельно живучие. Вечно остающиеся собой... Всё это без конца повторялось и не повторялось никогда. Все дости-

галось несколькими нарочито небрежными, быстрыми линиями, проведенными при помощи какой-то палочки тушью на белой бумаге.

Я чувствовала облегчение от того, что это всего лишь рисунки, что я в безопасности от изощренной тирании одного из этих созданий и могу без вреда для себя любоваться их утонченностью.

Он познакомил меня с автором. Это был множество раз упоминаемый им Миша. Огромный, бородатый, с моложавым лицом и глазами, из которых выглядывало что-то близкое бреду преследования. У него три образования: два каких-то высших и среднее художественное. Он работает в фонде, делает скульптурные ~~рибашки~~ портреты Ленина, гербы, трехметровые фигуры матросов и очень стыдится своего рисования. Говорит, что картинок в мире уже слишком много, и они перестали кого-либо интересовать. Что искусство отмирает.

Что связывало их? Разница в возрасте - 18 лет. Той эмоциональной чувствительностью, которая отсутствовала в моем любимом, Миша обладал в такой мере, что ему было невозможно жить, а с ним рядом невозможно было находиться. Но только по отношению к Мише, только в контексте "Миша" он как будто переставал быть нечеловеком. Миша для него существовал. Мишу он хотел видеть.

Его абстракции и Мишина графика уживалась рядом на стене без всяких трений.

После многолетнего перерыва я принялась ~~шт~~ читать популярные книжки о художниках.

Популярная литература кружилась вокруг того, что произошло в конце XIX-нач. XX вв. Ситуация мне показалась безнадежной: художники начали делать что-то непонятное нехудожникам. Им, во-первых, не платили за это денег. Они оказались вне общества. Художники считали, что их должны понимать. При этом они не считали, что сами должны разбираться в чем-то, кроме живописи. Великий Роден ничего не хотел знать о деле Дрейфуса, но хотел, чтобы понимали его работы.

Прекрасное Пушкинское "Ты для себя лишь хочешь воли".

Появилась странная этика. Художник имеет обязанности перед своим искусством и других обязанностей не имеет. Более того, пренебрежение всем человеческим ради живописи воспринимается как героическое поведение.

Но, может, именно это пренебрежение заставило художника смотреть на свое назначение, как на что-то предельно серьезное. Нельзя всё попрать ради украшения стен.

И теперь уже - не занятие в ряду других. Но - самозаклание. И право на всё, потому что - всё отнято.

Мне представилось бесчисленное количество пародий. Множество выполнивших лишь одну часть программы - забвение человеческих обязанностей - и по разнообразным причинам не создавших ничего ценного. Не сознательных эксплуататоров формы, но её жертв.

Кто-то вторит. Впрочем, не кто-то, а Майоль, сам никакими обязанностями не пренебрегавший: "Кто помнит сейчас о госпоже Гоген? А полотна Гогена слава Франции". Но мне казалось, что о судьбе госпожи Гоген сейчас знают гораздо больше людей, чем есть в мире способных оценить полотна Гогена.

В результате массового производства этих судеб, люди должны были отстраниться от художников просто ради сохранения чувства собственного достоинства. Люди стали избегать художников.

Поэтому, вероятно, он и предложил удививший меня тогда тост: "За редкого человека, который хорошо относится к художникам".

Сейчас им нужны люди, которые хорошо к ним относятся. Сейчас, значит, нужны. Но как они будут относиться к таким людям? Почему-то мне кажется, что все-таки - как к орудиям.

Выходит, нельзя подойти к ним близко, не теряя достоинства.

Но имели же художники в себе нечто притягательное. Женщин тянуло к художнику, потому что он увидит в ней никому и ей самой неведомые достоинства. Но теперь они, кажется, перестали вглядываться в людей. Они чем-то другим заняты. И никто не знает чем.

Или взять роль - например, коллекционера. Предлог, маска, чтобы подойти поближе. Я проигрывала про себя и это.

Как сладко-иметь у себя картины.

Но коллекционерство самою сладостью своею отнимет у меня что-то, мне сейчас неизвестное. Что может случиться со мною, что я открою в себе, к чему, быть может, приду. Тогда уж не открою - мне и так будет хорошо. Это - как счастливый брак. Как уютный дом - самая совершенная из тюрем. И чем это не наркомания?

Своей полезностью.

Но в моем доме поселится кто-то более ценный, чем я. Значит - бояться пожара и смерти. Значит, уже не имеешь права умереть, когда захочешь и без суety.

Я приходила к тому, что одинокому человеку нельзя быть коллекционером. Ибо он теряет то единственное, ради чего человек бывает одинок - свободу ухода.

Но опять - им же нужны коллекционеры. И салоны. Всего нужнее - так ему кажется - меценаты. Эта роль мне нравилась очень, но для неё нужны были деньги.

У него день рождения. Светский раут, все стоят, он в белом разносит напитки. Его девочка тут уместна, если не платьем, то важностью и холодом. Как я сейчас завидую холоду, он даже её простоватости придает оттенок светскости, как это хорошо - холод и непринужденность - не нужно выдержки. Кругом опять только люди искусства, но тут со значительной долей официального.

Находящийся в запале Миша твердит мне "Подождите, я сделаю два рисунка". За кого он меня принимает? Не хочу самозванства, но, видимо, чем-то назвал меня мой любимый, которому достаточно самому назвать чем-то человека, чтобы начать уважать в нем это качество.

Мише он говорит: "Какой ты красивый, как я люблю тебя". И я думаю, как о предстоящей тяжелой работе - о том, что мне придется любить Мишу. Хорошо, что издали.

На кухне - трехнедельный мальчик, с синими, уже глядящими глазками, не издавший за вечер ни звука.

Рядом со мной пожилая писательница, в прошлом подруга великого художника, о ней он тоже сказал: "Это мой друг". С ней мы поговорили о выставке. Оказывается, его работы ей не нравятся, "потому что он не профессионален и не хочет им быть". Слово "профессионализм" удивило меня, я думала, что никто об этом уже не говорит. Если в XX веке живопись только тем и занималась, что демонстрирует, как отсутствие чего угодно не смертельно для искусства — оно балансирует без малейшей видимой опоры — значит нужно искать не то, чего нет, но — что есть. Конечно же, он не похож на... Но на что он должен быть похож? И на что он похож?

Он похож на примитив, — соображаю я наконец.

А потом. Он пишет пейзаж с куском Невы в чьей-то мансарде на Васильевском острове... Это само по себе, как стихи. И кто-то пишет его портрет... И есть строки Ахматовой, где остров на Невской дельте, и комната, похожая на клетку, и художник перед мольбертом, с которым она "из голубой мансарды через окно на крышу выходила и по карнизу шла над смертной бездной чтоб видеть снег, Неву и облака".

Теперь уже рядом — то, о чем читала. Это, может быть, то, о чем кто-то прочтет... А, может, и нет, но нужно ли торговаться, ничто не бывает историей в тот миг, когда происходит. Нужно ли торговаться, быть уверенной, что человек станет памятником, иметь гарантию, чтобы служить ему...

И все-таки, когда он сказал, что привезет работы мальчиков с Васильевского острова, чтобы повесить у меня, я воспротивилась. Потому что это означало, что дружбу с ним я получаю в качестве платы. Я её покупаю.

Как пойти на такое. И как может пойти на такое он.

Я заговорила об этом. В набитом троллейбусе. Вот что я умела — выбирать время и место для важных разговоров. Он едва понял, о чем идет речь.

- Вы серьезно — насчет салона?
- Серьезно. А Вы — нет?
- И Вы не боитесь иметь со мной деловые отношения?
- Не боюсь. Почему я должен этого бояться?

- Вы не боитесь иметь деловые отношения с женщиной, которая Вас любит, - пришлось сказать мне.

- Какое значение имеют наши отношения. Нужно смотреть шире.

- Это занятие для истерички.

- Ничего не выходит от того, что берутся истерички. Это редко у кого может получиться. У Вас - получится. Для Вас салон - выход.

- Мне<sup>нужен</sup> выход. Но для Вас я этим займусь. - Я хотела, чтобы по крайней мере договор был открытым.

- Всё. Значит - не нужно..

Я видела, что о любви он не знает ничего. Он думает, что - не крушение цивилизации, не гибель города, не потеря родины, но - устройство салона может быть для любящего больше любви. Больше жизни души.

Наша следующая встреча окончиласьссорой, имевшей вид полного разрыва. Я думаю, что он меня карал не за отказ сделать то единственное, чего он от меня хотел, но - за то, что я заговорила и назвала вещи своими именами.

А тут очередная выставка неофициальных. И я иду туда в день открытия с чувством, что у меня нет билета, что я не прошенная гостья. Будто теряя его, я потеряла право быть на выставке в день её открытия.

Знакомство с художником - это тоже социальное положение.

Выставку не открыли. Там происходило что-то смутное, я поняла лишь, что несколько картин сняли. Фойе набито, по краям милиция, лица вокруг такие, будто на последних уцелевших интеллигентов устроили облаву. Будто их выловили и они собрались умереть достойно. Смотрю и думаю: вот те, которых скоро узнала бы, не заведи я разговора в троллейбусе.

Через несколько дней выставка открылась. И вся не понравилась мне. Я удивлялась: вот этот художник казался мне прекрасным на выставке абстракционистов, а сегодня его словно нет для меня. А вот муж хозяйки салона, как он был симпатичен у себя дома... Сегодня я ощущаю в живописи только душевное состояние, и всю гамму состояний - жестокость, вялость,

сомнамбулизм и попытки мистицизма — как гамму душевного поражения.

Что это такое? Или усталость моя — я могла прийти только после работы на полчаса — усталость так напрягает мой организм, что он не отзывается на тонкие вибрации, я не ощущаю формы и вижу в сильном — грубое, а в утонченном — блеклое? Или картины на этот раз уничтожили друг друга? Или эта осень?

Осень ли эта, или колода карт тасуется — что выпадет? Как выпало, так и расположились рядом. Если верить картам, то нет случайности. А если врут карты, то толкователь плох. Так выпало в эту осень.

Под картинами своего мужа та дама, что говорит с акцентом, она в красной блузке и в каких-то особенных джинсах, её хрупкая фигурка переходит из одних объятий в другие. Я смотрю, прикидываю роль, которую мне предназначали. Но я же знаю, что в моих приятельницах с дрожжевого завода заключено не меньше жизненной правды. Есть ли в художниках что-то такое, чего мне не может дать больше никто?

"Конец" я переживала забравшись в кресло с седуксеном, ромом и Фолкнером.

Я читаю Фолкнера и думаю: почему это я вижу в его холоде что-то сверхъестественное? Просто нет подобного ни в русской, ни во французской литературе, по которым я получила представления о людях. Хотя сперва и искала его среди героев Достоевского из-за начала, равно близкого святости и преступлению.

Но нет, у Достоевского все интересуются человеческим, только человеческим, и даже Николай Ставрогин занят собственной душой. Зато у Фолкнера на каждом шагу люди умудряются не испытывать человеческих чувств, и сохранять ту замкнутость, которая выше моего разумения. "Напряженная, холодная порывистость" молодого Баярда Сарториса, его "спокойный, сумрачный взгляд", вот он — высокий, худощавый, "трагически юный", как мне легко представить, что это мой любимый носится в автомобиле со сломанными ребрами и кувшином виски. Потом у него появилась жена, невозмутимо спокойная, и он после брака,

как посаженный на пепель ёс.

"Нарцисса взглянула на него мрачный профиль, обрисованный в свете фонаря, и теснее прижалась к нему. Но он не шелохнулся, и тогда она положила руку на его ладонь. Но рука тоже оставалась неподвижной и холодной, и он опять ушёл от неё в пустынные высоты своего отчаянья."

Я вспоминаю его металлическое, похожее на лезвие лицо, его слова, которые положили всему конец. Но всё это — как сон, нереальность. Я не могу себе этого внушить. Реальность — это моя жизнь в той вселенной, где всё — он. За пределы которой я не могу выйти.

И, подчинившись себе, я отложила Фолкнера и написала ему письмо.

В те времена, когда я не встречалась с ним, множество раз приходила мысль написать ему. Если нельзя говорить, можно писать, тем более, что писать я люблю. Но не могла же я написать необдуманное письмо. А обдуманное письмо к любимому оказывалось абсурдом, оно зачеркивало себя.

Письмо к любимому, которое пишется от того, что хочется с ним поговорить, всегда обращается в мольбу, в выпрашивание чего-то, совершенно независимо от содержания. Хотя бы в мольбу о том, чтобы занять несколько минут его времени.

Письмо, — думала я, — невозможно написать уже потому, что в прошлом их написано достаточно, чтобы исчерпать тему. Поэтому я не могу быть в письме непосредственной. Я вижу письмо не с точки зрения своего индивидуального бытия, но с точки зрения человека в 10 лет прочитавшего письмо Татьяны, а потом ещё массу писем.

Я осознавала многообразную непозволительность письма. И каждая попытка его написать превращалась в исследование на тему, почему нельзя написать письмо.

И все же неясность оставалась: нельзя написать письмо или нельзя написать письмо именно ему? Мне казалось, что чем умнее будет письмо, тем больше у него будет оснований сказать: не выёбывайтесь.

Но тут в первый раз я смогла написать письмо, вдруг догадавшись обратиться не к любимому, но к художнику.

"....все слова, которые сказала я, все, что сказали Вы, не имеет никакого значения, ничего не меняет. Значение имеют Ваши картины, они-то всегда всё определяли, только я иногда забываю, что они всё определяют. Но когда я перестаю не просто видеть Вас, но и надеяться, что увижу, я это понимаю. Понимаю, что могу не видеть Вас, но не могу лишить себя этой роскоши, этой милости, этого дара судьбы - видеть Ваши картины. Вы для меня остаетесь тем же - человеком, их написавшим.."

Письмо возымело эффект. Как сообщил очевидец, прочитав письмо, он сказал, что нужно подарить мне картину. Я сочла это гонораром за литературный труд. Было бы справедливо разделить его с Фолкнером.

Потом он приехал ко мне, привез картину. Пьяный, усталый, очень тихий, он сидел в кресле, и тогда я услышала от него то, что всегда только читала на его лице. Он произнес эти слова в первый и последний раз, но без этого у меня не было бы доказательств, что он тот, за которого я его принимаю и выдаю.

Глядя на свою картину - три стакана на сером фоне - он говорил: "Но мне же это безразлично. Я понимаю, что это безумно красиво, что китайцы позавидовали бы. Но как только я это нарисовал, мне это становится безразлично. Меня с этим ничего не связывает. Какое это безумие - живопись, диссертация, культурическое движение... Я играю с чертом в шахматы - черт делает ход, и я делаю ход... Жизнь не имеет вкуса. Жены, ребенок - какое безумие, мне этого не нужно, я монах."

"Корней нет", - сказал он ещё.

И я снова вступаю на эту площадку. На что я надеялась? Разве только на то, что не совершу поступка, за который меня накажут изгнанием. И это будет длиться, пока не иссякнет во мне то, что продуктирует любовь и боль.

На что я надеялась с самой начала? Не до надежды было. Я заботилась только о том, чтобы не умереть от страха и стыда. И думала только о том, как держаться достойно, несмотря на стыд и страх.

Я заклинала - не его - себя, у себя требовала: легкость!

Но есть же у человека, у которого нет потребности в любви, потребность в приятии. У самых холодных, у самых одиноких.

Это был единственный козырь, который я находила у себя на руках.

Не знаю, как любит его эта девочка, наверное, любит, но как-то совсем иначе. В третий раз она делает то, что, по моим представлениям, с ним - немыслимо. Выйти за него замуж. Родить ребенка. И вот теперь, когда ребенку исполнилось четыре месяца, вернуться на работу. Чтобы не терять профессионализма. Работает она по вечерам, ребенка оставляет с ним.

И при этом говорит ему "Вы".

Теперь мы встречались с ним чаще всего у него дома, во время этих дежурств.

Он - с младенцем на руках.

Но важности не терял, и с ребенком на короткую ногу не становился. Никогда не прибегал к уменьшительному имени, да и полного "Леонид" ему было мало, он обращался к нему не иначе, как "Леонардо" с очень слабым оттенком шутовства. Не утверждаю, что родись у него девочка, он обращался бы к ней с "Вы", но проблема выбора, думаю, существовала бы.

Кормит, переодевает, укладывает спать ребенка. Потом жарит мясо, сервирует стол, - это не без удовольствия, в этом ритуал. С ним всякая еда - ритуал... Большие старинные ножи и вилки на крохотном кухонном столе... Потом, повернув ко мне парадно-красивую спину, моет посуду.

К этому сюрреалистическому зрелищу я так и не могла привыкнуть за те четыре года, пока эта идиллия длилась. Эта полная скрытого ужаса идиллия. Его фигура в крохотной, жалкой кухне... Но обыденность не пропитывала его, не покрывала налетом, он ей не уступал хотя бы ворчанием, не взаимодействовал даже иронией.

Иронии в нем не было вовсе.

Эти четыре года, когда они кончились, представились мне скорее прозрачным кубиком, чем протяженностью в длину - так мало изменилось за это время. Мы даже друзьями не стали, не-

смотря на постоянные встречи. Всё так и оставалось результатом моего сверхнапряжения, всё определялось только мной, моим состоянием и кончилось в ту минуту, когда оно изменилось.

А он словно – просто терпелив, просто так добр, что прощает мне мою любовь.

Я внушила себе, что нужно любить не несчастливо, научиться этому, как всякому практическому искусству... Время летело, я делала микроскопические успехи. Как много успел за то же время Леонид – стал улыбаться, расцвел – живой, румяный, округлый, синеглазый, лукавый – на руках у отца он был как цветок на сухом дереве. Быстро встал на ножки, побежал по своим делам, заговорил и спросил у меня, где я живу и есть ли у меня мальчик? На что отец с нажимом в голосе сказал: "Зачем же ей мальчик? Он ей не нужен, она сама, как мальчик".

Только с Леонидом и завязались у меня в этом доме мимолетные, но нормальные человеческие отношения.

Иногда я не успевала уйти до прихода Верочки. Она появлялась, всегда свежая, раскованная и уверенная.

Иногда я подпадала под её шарм, любовалась её лицом, которому не нужна косметика, иногда даже любила её, как принадлежность его быта, но все добрые чувства обычно кончались с её присутствием.

А в ней я не прослушивала особой антипатии к себе – ничего, кроме её обыкновения злословить и передразнивать, теперь уже профессиональной привычки музыканта, работающего с вокалистами.

Может, с высоты своего роста, красоты, молодости она не принимала меня всерьез, может знала о нем что-то, что избавляло её от любых опасений. Или не это ей было важно.

Я уже перестала удивляться её естественности. Напротив, сама её постоянная сверкающая свежесть стала казаться мне противоестественной, так же как их обращение друг с другом, вернее то, что она это обращение сносила с довольным лицом. Я не представляла, как мыслит она этот союз, выглядевший словно династический, словно они друг в друге уважают сан, происхождение, сам брак, который каждого оставляет неприкосновенным, и у них нет ни права, ни желания быть фамильярными.

ми. И для неё так же немыслимо прикоснуться к нему, как и для меня.

И при этом — свежа и довольна, "нордическая женщина" — говорил о ней мой приятель, "сильфидой" называл её другой человек, "купеческой дочерью" — третий.

Но с годами лицо её отвердевало, и я и о ней начинала думать: а живая ли она? не кукла ли заводная тут в комнате? Ну, конечно, отсутствие трепета и ранимости, вечная анестезия — вот за что она удостоена этого брака. "Достойная подруга", и всегда равная себе, а он при постоянной скованности вечно другой, у него и холод бесчисленных оттенков, у неё же только рыбий. А может, эту одинаковость, эту надежность он и ценит выше всего.

Он долго приглашал меня только во время своих дежурств, но, наконец, стал звать в гости и в то время, когда она бывала дома. Выхода не было, это неизбежно: съесть приготовленный ею обед, приносить ребенку игрушки, встретить тут Новый год — стать "другом дома".

И, наконец, страх оставил меня — нельзя же так панически бояться человека, который на твоих глазах нянчит младенца.

С рождением ребенка он больше не мог заниматься живописью дома. Он писал пейзажи, отыскивая для этого квартиры не ниже пятого этажа, из окон которых был виден кусочек старого города.

Получался город с ~~лишней~~ высоты птичьего полета.

Конечно, город был застывший, безжизненный, необитаемый. С жесткими, не тающими в воздухе и свете ~~границами~~ домов. С домами, лишенными массы, в пространстве, лишенном атмосферы, теней и солнечного света. С перечислением всех труб на крышах.

Но так совпало, что писал он город, который вечно обивали в тех же чертах, которые имел в себе художник. В сухости, бессердечии и мертвенностии. В слишком четких очертаниях, в слишком прямых, рождающих отчуждение линиях, в rationalности, правильности и логичности, которые как-то оборачивались инфернальным.

Не город — утверждает русская литература — а наваждение, стройный мираж, накинутый бог знает над чем.

Пейзажи эти выглядели уже ~~ши~~ определенно наивно. Наивность была не простодушной и не детской, она была вроде — отроческой. Отроческими были принужденность и угловатая, нежная, бесполая красота. И просвечивание в нежном — демонического, в демоническом — ангельского.

Странно, но передо мной были картины, уже определенно похожие на ~~наивы~~. Он этого не хотел, не согласился бы на подобное родство. Ни интереса, ни симпатии к наивам он не проявлял. Но был же он неискушенным и иногда поразительно элементарным человеком.

И было в картинах именно это обаяние — обаяние свежести открытия. Поэзии открытия.

По мере того, как он рисовал, он постепенно становился художником в том смысле, который первоначально был заключен для меня в этом слове. Художником, с которым идешь по городу и знаешь, что он переживает город. И что в его восприятии есть что-то такое, чего нет в моем.

Я узнала с ним неведомую красоту сухого и угрюмого.

Есть дни в Ленинграде, когда в жизни один выход — переждать, дождаться конца. В такой день мы переходим мост через Неву, и вода в ней, этот лирический дневник дня, точная запись его сущности — он смотрит и говорит: "Как красиво". — Вода свинцово-серая с буроватым.

Как-то он сказал мне: "Вот такие деревья я люблю. А эти нет. Я люблю, когда без листьев".

С этой минуты город оделся в черное кружево, и каждое дерево стало для меня переживанием.

Через его картины я увидела: плавные, изящные очертания неспроектированных пешеходных дорожек в снегу. И что цвет затоптанного снега в городе не серый, а кофейный. А главное — нежный, пастельный цвет города. Я смотрю на него столько лет-жадно и восхищенно, и вот только теперь увидела, какого он цвета.

Город — он со мной молчал. Я не сразу это поняла. Он никогда не говорил мне ничего оскорбительного — он просто не

вступал со мной в разговор.

Как и этот человек, даже видом своим напоминавший иногда Петропавловскую крепость в серый день. С "железно-серым" лицом, с такими прямыми линиями тела, словно его тоже прочертили линейкой, придумали для гранитных набережных и классицизма.

Он изображал город, по-моему, точно таким, каким город был. Но почему никто больше таким его не изображал? Или слишком он отстранен — этот город, декорация совсем не для тех пьес, что тут сейчас разыгрываются.

Картины других художников висели у него дома вместе с его работами. Ему не мешала чужая индивидуальность, он относился к живописи собратьев с большой добротой. Ему хотелось собирать картины. И не принимать в подарок, а покупать. Ему хотелось быть человеком, который покупает картины. Части его натуры это пристало больше, чем принадлежать к числу этих "охламонов-художников", с которыми он общался, но которых я не видела в его доме.

Так глубоко он был расколот уже на поверхности своего существа. То он считал себя человеком науки, в свободное время занимающимся живописью, что не помешает ему вскоре защищить докторскую, то художником, вынужденным ради заработка ходить на работу, сносную тем, что на ней не совсем жесткий режим.

А иногда в нем поднимал голос деятель, ему хотелось что-то организовывать, сколотить свою команду среди художников — и тогда мне становилось его особенно жаль.

Я подозревала в нем то же, что и во мне — особенное отношение к художникам. Несмотря на многолетнее общение с ними и на то, что он принадлежал к их числу, они сохранили для него нечто экзотическое. Но и другое: ему было нужно в ком-то видеть "своих". К кому-то причислить себя. Бместо "корней", на отсутствие которых он однажды пожаловался.

Но если мое преклонение распространялось только на художников, где не только талант, но само занятие было опоэтизировано, а люди, например, пишущие, никакого ореала не име-

ли, то он с большим пietетом относился к каждому, кто что-то делает. Он считал, что каждый, кто делает, придет к чему-то. И для этого достаточно делать. Его и тут интересовали объективные показатели. Если дело касалось пишущего, то — число написанных страниц.

Некоторых персонажей этой недоступной мне среды деятелей подпольного искусства я теперь знала в лицо.. Чаще всего на наших маршрутах попадался Тимур Новиков. С ним он вступал в какие-то деловые разговоры и от него узнавал последние новости.

Тимур приплясывал на месте. И, хотя он был особенен именно тем, что достоинства его картин ни с первого взгляда, ни потом сомнений не вызывали, я как-то не могла причислить его к высокому стану , ибо быть художником для меня означало что-то серьезное, трудное и несколько отвлеченное, а он имел вид самого беспечного и вместе самого деловитого человека на свете. Он был такой, словно вокруг — карнавал, цирк или хотя бы кафешантан, а не Литейный в 1980 году.

Очень жесткие линии тощего тела и лица, крупный горбатый нос, торчащий вперед подбородок, матовая бледность, чернота глаз и волос — это было как бы карнавальным нарядом, который должен был изобразить что-то злодейское, чему странно противоречил всегда дружелюбный, прогретый изнутри взгляд. И то, что он скакал и веселился, как воробей.

А в пейзажах — лирических, хоть и не сентиментальных — черный цвет и очень мягкие контуры. Словно вечер, свет фонаря, сырая погода, близорукость. И город — как будто ты не стоишь перед ним, а идешь, и у тебя на глазах меняется резкая ломаная линия крыши прижатых друг к другу домов, влажное, прокопченое небо, поворачиваются стены строений.

К нему мы заходили и пили чай на кухне в обществе Боба Кошелохова. Боба мне мой любимый показал на выставке так, как указывают на особенно редкого зверя, и с оттенком нежности.

Вид у Боба был дико-анаархический, длинные космы немытых волос, недвижные глаза, мягкое и непреклонное, слепоглухое лицо. Как бы хишли на почве отечественного юродства. Лицо

столь древнерусское, что было непонятно, почему его не хва-  
тят на улице постановщики исторических фильмов. Православный  
клирик, старообрядец или прикидывающийся простаком себе-на-  
-уме мужик... Он каким-то образом прожил год в Италии.

Мы ели принесенную мною красную смородину. Тимур перес-  
казывал какой-то фильм с трюками, непонятно увлеченный им,  
как самый пустой подросток. Когда на тарелке осталось несколь-  
ко ягод и зеленые веточки, я стала передвигать их по дну та-  
релки, пытаясь составить какую-нибудь композицию с тайной  
мыслью вызвать реакцию художников. - "Что, слабо нарисовать  
ягода?" - сказал мой художник. - "Нарисовать ощущение..." -  
важно сказал Боб. Он писал свои картины не кистью, а мастихи-  
ном.

Во время этих визитов я молчала, в глубине души недоволь-  
ная ролью дамы, сопровождающей художника. И со мной молчали.  
То ли с дамами они не разговаривают, то ли на меня падала  
его тень. Только однажды я попыталась не то спросить, не то  
сказать что-то по поводу картины, художнику, писавшему голлан-  
дские хижины. И ~~шиши~~ получила замечательный ответ. Он сказал,  
что его знакомый поэт ответил кому-то: вот напиши стихотворе-  
ние, и тогда мы поговорим о моем.

Этот ответ меня шокировал, как публичная демонстрация  
кровосмешения. Чтобы поговорить с художником, нужно стать  
художником.

А не разводят ли они вокруг себя художников? В качестве  
зрителей и для общения. И потому приживается эта иезуитская  
идея: художником может быть всякий.

Не только зритель не понимает, что делает художник, но  
и художник не понимает, что говорит зритель. Не видит смыс-  
ла. Не хочет слушать.

Художник и зритель - это как бы разные сословия.

Я не считала, что зритель должен диктовать. И даже не  
на праве голоса настаивала. Но мне не нравилось, что худож-  
ник отворачивает лицо. Удручала рознь и закрытость, взаим-  
ность непонимания.

Можно понять врача, который медициной увлечен, как мож-  
но увлечься любым знанием, превратив его в высокую игру ума.

Можно представить, что его интересует болезнь, а не больные и не лечение. Но как быть с больным, который хочет исцеления. Сейчас, в этой жизни. Или уже нельзя, или пришло время больным исцеляться самим?

Олимпийское лето. Он вдруг бесследно исчез из города. Потом оказалось: внезапно умер в Печоре отец, ездил хоронить.

Вернувшись, приехал ко мне на работу, привез книги. Вместе с книгами в сумке "Алазанская долина". Попросил стаканы, говорит не останавливаясь. О смерти отца, о похоронах, о том, как они с отцом похожи, хотя были в ссоре 10 лет. Я сказала: "Вы мне в эти дни приснились без пальцев на руке". - "Пальцев на руке нет у моего отца", - говорит он. Не поразился, даже не остановился на этом - знает, что есть что-то такое, и этого знания достаточно, чтобы больше не удивляться.

Мыходим на улицу. Ему требуется зайти в ресторан и там выпить бутылку шампанского. Говорит тост: "За наше безумие". Потом, выйдя на середину узкого Большого проспекта, раскинув длинные руки, пытается поймать машину, а я с грустью опять ловлю себя: вот мне сейчас легко с ним потому, что он так пьян. Вступает в права другая реальность, сейчас мы едем к его другу. Сознание, что этого не было бы, будь он трезвым, отравляет мне этот час.

Мы приезжаем на Мойку. У ворот капеллы он показывает место, где одновременно видны Исаакий, Адмиралтейство и Зимний. Почему-то это его трогает. Он снова говорит: "Безумие" - теперь о том, среди чего мы находимся.

Пустой город олимпийского лета. Особенно пронзительное ясным летним вечером неправдоподобие этого города. Невероятность этого сказочного дара, этого доставшегося нам, безродным, чужого наследства. "И мы тут живем. В этом безумии", - говорит он.

Мы с ним в эти страшные годы - как уцелевшие после катастрофы, в те минуты, когда не оплакивают, но изумляются тому, что погибло не все. И не надеялись на это. Мы чувствовали себя последними жителями, но он был поглощен своим

приобщением к культуре, он приобретал во время всеобщих утрат. А для меня в эти годы он был единственным противовесом отчаянию. Он, его воля к конструктивному. Его дивное тело – прихоть природы, словно ей вздумалось щегольнуть тем, что она может – в этом теле заключался источник его силы и энергии. Будто природа приходит на помощь вырождающейся, гибнущей цивилизации. Зверь зализывает рану, на свалке вырастает трава. Дети интеллигентов во втором поколении, не говоря уже о выжившем четвертом – знают: всё бесполезно, ничего не нужно и нельзя. А мальчик, в котором еще бурлит неостывшая лава, для которого даже карьера представляет собой свежую идею, приезжает сюда. Не читавший и Майдодыра, он узнает о "Прусте, Джойсе, Кафке", и, даже если он из Пруста извлек немногим больше, чем извлекают из Майдодыра – само его существование говорило мне: нужно, чтобы всё хорошее "было", потому что может появиться мальчик, которому что-то хорошее понадобится.

Если не наступит конец света.

Я приносила ему книги – груды книг, и тут он не был для меня тайной, я знала, какие приносить, и он никогда не возвращал их непрочитанными.

"Ещё есть в мире..." – говорил он иногда о чём-нибудь хорошем.

У друга оказался гость. Его лицо поразило меня – оно было красиво, невинно, непорочно. Оно было таким, что я не могла постигнуть – как это возможно, чтобы жизнь – та жизнь, в которой для меня и для моего любимого уцелеть было чудом и подвигом – не коснулась человеческого лица, не провела ни одной черты. Словно его только что нарисовал акварелью А. Брюллов... Какой это был контраст – у моего любимого сейчас, в момент запоя лицо для фильма ужаса.

Ангел был категоричен. Про висевший тут натюрморт моего художника он сказал: "Это уже было. У Сурбараана". Как учитель детям: " $2 \times 2 = 4$ ". Что-то не подлежащее сомнению, но детям ещё не известное. Он учился в Академии Художеств. Его звали Алик Тагер.

Окна комнаты выходили на Зимнюю канавку – на три арки мостов. И на Дворцовую площадь. До конца лета он жил тут у

друга, пока жены их были на даче. И рисовал из окна - то, что он называл "безумием" и "культурой". Возникал Петрополь - прозрачный, тихий, ненатуральный. Тот самый - чудо<sup>м</sup>м возникший, чудом уцелевший, чудом пребывающий. Увиденный человеком, у которого не было памяти, не было воспоминаний - ни своих собственных, ни исторических, ни литературных. Пришельцем, у которого был только восторг тем, что он увидел.

Олимпийская выставка. Какая это была радость.

Она ошеломила. Ошеломлены были все, всем хотелось о ней поговорить, но это было невозможно, потому что никто не помнил ни одного имени.

Кто-то отобрал работы так, что не было мрачных и агрессивных, и кто-то развесил с любовью. Искусство было высветлено. Так, в пестроте появилось единство.

Выставка была радостью, и смыслом радости казалось то, что в Ленинграде есть искусство - разнообразное и живое.

Но смотреть картины теперь для меня ещё и работа, с которой я не могла справиться. Нужно было выяснить, что же мне нравится, потому что он мог меня об этом спросить.

Возникло еще что-то вроде гражданской ответственности. Чего нет, когда приходишь в Эрмитаж, зная, что вот это - великий художник, а трогает он меня или нет - это мое личное и не для кого больше не важное дело. Начинаю заниматься выслеживанием собственных ощущений. Это утомительно, и неясно, чем их проверять. Но выяснилось, что от удовольствия от выставки до "нравится" очень далеко. Я пришла к тому, что мне не нравится ничего. Что я подозреваю, что картина хороша, но я бы не обратила на неё внимания, если бы не занималась специально оценкой. Что другая приковала меня, но я знаю, что это фокус, который подействует только один раз.

И потом, удовольствие от картины - половина дела, для меня важно последствие, способность изменить мое зрение. А это не всегда происходит под влиянием понравившейся картины.

И я пришла к выводу, что большая выставка - это вроде соуса кэрри, где несколько десятков пряностей при перемешивании теряют свои свойства.

А через несколько месяцев тот же зал, где выставилось полторы сотни художников, был предоставлен 14-ти.

Открытие откладывалось со дня на день, и когда, наконец, состоялось, народа было мало. И уже ни музыки, ни цветов. Время ли успело сделать виток или новая волна художников - но ни экстравагантных одежд, ни шлейфа знакомых.

Художники были, кажется, рады этому залу, этому раздолью. Но у меня выставка вызвала грустные чувства. Что-то невеселое и вовсе нешуточное почудилось в этом собрании индивидуальностей. Оно предстало не как различие стилей, качества способностей, темпераментов, но как глубокое различие ценностей.

Как одиночество каждого. На выставке не было "реализма", который смягчил бы общий тон, рядом с которым иные стили выглядели бы пикантной приправой, а все вместе - особой полнотой. Так было на олимпийской выставке. А тут - только индивидуальности. Они не спорили, не воевали. Просто каждый замыкался в себе, не подавая никаких знаков.

Холодно мне от этого. Хотя холод не преобладал. Были экспрессионисты, и среди них любимая мною Лена Фигурина. Но чем становилась её эмоциональная сила в этом хороводе, где рядом был бесчеловечный романтизм чего-то космически-эротических-машинного, а по другую сторону хвастались объедками со стола модерна? Её человечность получала значение просто еще одной личины на карнавале.

Мой художник выставил свои абстракции. И предельное отсутствие содержания обернулось тем, что его тут словно вовсе не было. В смешение голосов он не приносил ничего. Красота его абстракций, такая ценная на стенах человеческого жилья, в этом зале теряла значение.

На выставке была Мишина графика. Это он выставил Мишу. Сам Миша был слишком утонченной натурой для подобного действия. А ему это ничего не стоило. Он любил - выставки и выставляться.

Скоро он выступил в роли инициатора квартирной выставки. Умер художник, и он, не будучи особенно близок с ним, взял на себя все тяжелые хлопоты, а потом устройство выставки с тем, чтобы деньги за картины, которые удастся продать, пошли бы на памятник. И был удивлен, что не все художники проявили со-лидарность и приняли участие в выставке.

Квартира нашлась с большим трудом. У какого-то окололитеатурного человека.

На кухне бренчание гитары, толпа, бутылки. В комнатах — тесных и грязных — курили девицы, которые тут просто находились — под картинами.

Когда он спросил о впечатлении, я осудила бардак, ибо выставка — культурное событие, и люди, отправляясь на выставку, настроены торжественно, они приоделись и вымыли голову. Он ответил: "Меняйте квартиру, и мы будем устраивать маленькие, камерные, изысканные выставки".

Но осуждало во мне то, что играло в игру под названием "культура", ради него играло, сама я не так уж была уверена в праве судить, и в том, что все это только легкомыслie, хулиганство, неуважение к искусству, к себе, к пришедшим людям. Не была уверена в том, что во всем этом нет концепции. Концепция, мне казалось, обязательно должна была появиться.

Картини пишут в помещениях, похожих на сараи, люди, живущие без денег и поддержки. Пишут неизвестно зачем. Никому неизвестно. И может выработаться иная мера вещей. Видеть картину вне окружения.

Для "культуры" нужно, чтобы кто-то о художнике позабочился. Хотя бы сделал рамку и вымыл пол. Нужны люди, заинтересованные в художнике.

Этого нет, и потому, может, есть фальшь в том, чтобы всё было "как в хороших домах".

Картини висели у меня. Тут что-то происходило в самом микроскопическом виде. Однако, это крохотное дело — повесить картины и знакомых звать к себе настойчивее, и они приезжают не просто так, а картины смотреть — как сильно оно

влияет на чувство собственной значительности! Ты уже кто-то. Ты — деятель. Появляется уверенность в себе и точка зрения на множество вещей. Собственное творчество и мысль не дает и тени той уверенности, что вселила забота о чужом.

Было много приятного и несомненного в этом занятии. Главное, много нового опыта. Я узнавала, как ведут себя картины. И как ведут себя посетители в зависимости от того, как меняется мое, даже не высказанное отношение к картинам.

Была в этих посещениях некая торжественность и — все-таки пустота. И раздражение. Оттого ли, что я была не сама по себе, а в роли?

И был еще вопрос продажи картин. Есть ли что-то более несомненное, чем право художника жить своим трудом. Получать вознаграждение за труд. И, однако, показывать картины, и думать, купят ли их... И, против воли, относиться к людям в зависимости от того, купят ли... Так получается, и это неприятно мне.

Он был еще организатором выставки пейзажа. Подобрал участников, и получилось, если не единство, то и не полный разнобой. За исключением одного-двух невписавшихся, это была выставка неживого пейзажа. Как ни странно, на этой выставке он выделялся не холодом, а теплотой.

Город его был оцепенелым и неживым, но к его неживому лицу он относился с нежностью. Была тут хотя бы одна капля неразбавленного чувства.

В других пейзажах не было никакой жизни и никаких эмоций. Это напоминало о том, что мертвый мир — современен. В иностранных журналах подобного так много, и там это — круче. Я думала, что омертвление чувств — это реакция на страшный мир, где невозможно выжить, имея нормальную эмоциональность. Но, видимо, не совсем так. Я видела лица художников — неопаленные, пустые лица. Одного из них можно было счесть красавцем, и я думала, какой бездейственной, неопасной может быть красота.

И только участвовавший, но невписавшийся Гаврильчик,

прошел по залу совсем другой – исхудавший былинный добрый молодец.

Я прочла книгу отзывов. Такой появился новый жанр в круге чтения. Она напоминала большую выставку – так же устаешь от попыток упорядочить разнообразие.

О нем писали: "Раскрашенный чертеж", "Какая-то новая поэзия", "манерно", "искренне", "инфантально". Спорили: "не инфантально, а инферально". Я нашла, что все правы. Ошибаются лишь ~~ином~~ в том, что не допускают, что инфернальное и инфантильное может содержаться в одном человеке.

Он не понравился человеку, который писал: "Картины существуют не для глаз, а для ума". И мне пришлось принять факт существования зрителя, который не переживает, а разгадывает картины. Кому-то в самом деле нужны ребусы и задачки на сообразительность.

И снова я побывала на банкете в той же мастерской, что два года назад. Мы пришли туда в день закрытия выставки большой толпой. Жена хозяина сказала, что он спит, что его лучше не будить. Потом он вышел, увидел все это, втянул голову в плечи и снова скрылся в другой комнате. Я туда заглянула, он сидел на кровати и спрашивал: "Мать, что мне с ними делать?"

Там пили, поджидая, когда принесут откуда-то еду. Наконец, принесли – целое ведро жаркого из кур. Но к этому времени всё уже было выпито.

Я снова проскучала, промолчала весь вечер. Только какая-то девушка заговорила со мной. Она сказала, что они /с мужем?/ тоже устроят выставку, это будет необычная выставка, таких в мире ещё не было...

Все кое-как сидели, не было места только моему любимому. Он разливал вино, и делал все, что нужно. Мне изменила выдержка, и я сказала: "Я хочу, чтобы Вы сели". – "Мало ли, что Вы хотите". Про это я знала очень хорошо. И ещё сказал: "Кто-то должен стоять". И потом ещё: "Я им говорю о том, что Вы сделали для выставки, но они ничего не понимают".

"Они, может, понимают, - думала я. - Может, они понимают, что я не для выставки, а для него." Если бы не он, я отнеслась бы к ней без всякого сочувствия. А он столько в нее вкладывал, и спрашивал: "Ну, как?" - "Не стоит одного мгновенья твоей печали, дорогой" - думала я. Но не говорила этого ему. Взрослым людям нужна деятельность. Тем более, ему. Он же по природе деятель. Но судьба лишила его места, где бы он мог действовать и подчиняться идеи. Поэтому его авторитарность едва чувствуется. Разве что в той власти, которая заключена для него в слове "должен".

И в способности вдохновляться понятием. Для него выставка - "культура" и тем свята. А я олицетворяю сочувствующую публику и тем достойна уважения. И сама я едва не втянута эмоционально во все это, едва не прониклась уважением к себе. Но все же думаю: это извращение. Эти художники, за исключением двух-трех, не лучше всего плохого. Идея тут уничтожает себя и становится демагогией. Не "за искусство" же я. И не за "свободное искусство", но за право на то, что сам ощущаешь истиной.

Но он поклонялся культуре как-то варварски - всем её внешним атрибутам.

"Почему Вы никогда не говорите мне о моем пьянстве? - сказал он вдруг. - Может, меня это остановит." Конечно, в тот момент, когда он это говорил, он был пьян. Конечно, к этому разговору немыслимо было вернуться, когда он был трезвым. Тем более, что трезвый, он сам прекрасно разбирался, как нужно относиться к пьянству.

Но, видно, в этой игре он хочет дать мне роль. В этой совершенно не интересной мне игре. В этой прозе жизни. Пьянство было тем единственным, где мой любимый утрачивал для меня поэтичность.

Пьяный он тоже был разнообразен, но в общем больше похож на человека, причем на человека истеричного. В глубоких стадиях выходил наружу негативизм и демонстративность. Как трехлетний ребенок, он делал обратное тому, что ему предлага-

ли, и вел себя издевательским образом не столько по отношению к другим, сколько к себе, к тому, каким он был в трезвом состоянии. Издевался он главным образом над правилами и расчетом.

Не в том дело, что пьяный он мне меньше нравился. Не меньше. Но сама ситуация возни с пьяным человеком была слишком прозаичной.

Этот грубый факт - купленная в магазине бутылка, - вызывает в нем чувства. А я их вызвать не могу... Ребенку и искусству я уступала его без ревности, но ревновала к пьянству.

Все же его слова соблазнили меня. Соблазн был не в том, что я поверила, будто можно что-то изменить. Я и вообразить себе такого не могла. Его пьяная личность выполняла важные функции, о которых трезвая ничего не хотела знать. И даже если не вдаваться в глубинную психологию - он ни отдыхать, ни общаться иначе не умел.

Но то, каким он был трезвый, ему очень нравилось. В том-то и дело. Трезвую личность он сам создал - из того, что ему нравилось. И любил, как свое создание. Но обычно сильно нравится именно то, что противоположно собственной природе.

Природа мстит со свойственной ей жестокостью. Мстит - страстью к самоистреблению. И вся его природная агрессивность была направлена против самого себя.

Было забавно слушать, как он говорил о себе пьяном. С оскорбительной, ледяной отчужденностью. Так можно говорить о ком-то, кого не только осуждаешь, но и считаешь ниже своего достоинства понимать.

О пьянстве он всегда говорил, как ханжа.

"У Вас почерк каждый раз другой - неужели Вы не замечали?" - сказала я однажды. - "Нет, не замечал, потому что это меня не интересует - как и всё, что касается меня."

Я ничего не говорила в ответ, спор между нами был исключен. Но эти слова заставляли меня закипать. Не тогда, когда он их произнес - его присутствие по-прежнему полностью подчиняло меня. Но потом, вспоминая... Вычеркивать в себе то, что неотрывно от человеческой природы... Если не обращать взгляд в себя, то можно поверить в любую теорию... Ничто не помешает

поверить... Думать о себе – неприлично, этот взгляд пристал деятелям и исполнителям чужой воли, но как при таком взгляде возможно познание и как возможно творчество. Как возможно ми-роощущение, за которое несешь ответственность. В этом мире, где нет доступа к природе и почти нет доступа к другому человеку, где вместо отношений – клочки и цитаты – закрыть для себя единственную неотчужденную реальность, единственную истину, которая всегда с тобой...

И вот случай продемонстрировать ему, что знание себя имеет ценность. Что любая проблема упирается в знание себя... Соблазна я не выдержала. Я сказала ему, что хочу поговорить с ним о пьянстве.. После этого он должен был мне позвонить. Так получилось. Он мне не позвонил.

Тут была моя неловкость, недипломатичность.

А месяца за два до этого я заговорила с ним о себе. Я уже слишком ясно видела, что словесное воздержание и постоянная сдержанность оборачиваются для меня катастрофой. Мой организм к сдержанности в таких дозах приспособлен не был. Он к ней вообще не был приспособлен. И я попробовала заговорить. Не помню, что успела сказать, и это было неважно в ту минуту. Дело было не в том, что я говорю, но в безобразном для него факте моей несдержанности.

Но помню хорошо, как, говоря, я несколько иронически ему сочувствовала. Тому, что теперь он уже это потерпит. За два года он оценил какие-то мои качества. Ведь я только тем и занималась, что демонстрировала особую качественность. Не мог же он что-нибудь не оценить. И вот ради этого он приготовился терпеть меня до конца жизни.

Моя нетребовательность была одним из качеств – недостаточным, но необходимым. Он меня терпел, как терпит женщина нетребовательного поклонника. У меня в этой истории была определенно мужская роль.

Выслушав то, что я наговорила, он ответил здраво и коротко: он не может отвечать мне, потому что не может говорить со мной на одном языке. Моё отношение к нему так сложно и многоаспектно, а его отношения с людьми – элементарны. Человеческие отношения его не интересуют. Его интересует наука, искусство.

Между прочим, единственная наука, которой он занимался, была психология.

И вот теперь он был элементарен, когда не звонил мне. Просто не хотелось. Не мог же он заботиться о том, что из этого произойдет.

Мой очарованный культурой любимый в человеческих отношениях предпочитал примитив.

Я уже знала, что вопрос, хочет ли он продолжения отношений не имеет смысла. Ибо расстояние между его "хочу" и "не хочу" так ничтожно мало, что его можно было не брать в расчет. У меня же оно, казалось, равнялось жизни.

Поэтому я знала, что будет так, как хочу я. В этой мысли не было ничего победоносного. Осуществлять своё "хочу" было уже не просто унизительно – это казалось гнусным.

И не имело значения, кто прав. Имело значение только то, смогу ли я снова предложить ему встречу в той форме, от которой он не откажется. Речь шла о форме. Но заключенная в ней ложь и моя мужская роль стали мне непосильны и омерзительны.

Мне снились каждую ночь омерзительные сны – в них я секуально преследовала женщин. И некого было попросить, чтобы это прекратилось, заявить, что я не хочу эти сны смотреть.

Наконец, я решилась расстаться с ним, но в этом решении не было исхода и освобождения. С мыслью об этом навязчиво соединялась другая: "вскрыть вены". Почему-то именно "вены". Я, вроде, знала, что не лишу себя жизни, но у меня появился страх перед острыми предметами. Или катастрофа уже наступила, и уже нельзя было различить любовь и болезнь, любовь и психический развал.

Тут он попал в больницу. С чем-то нехорошим. И какой смысл уходить – показалось тогда. Ведь с ним может что-то случиться, и тогда потеряет значение, был ли уход. Ведь если с ним что-то случится, так, что он потеряет глаза или руки и не сможет рисовать, у него не будет больше тех, о ком он говорит "друзья".

Конечно, я пыталась понять, как это случилось, почему он так безразличен к живому, как может быть так безразличен к живому человек. Хотя в XX в. примеров достаточно, все же как можно это понять. Дают этому только одно объяснение, помешая между человеком и живым - страх.

Нет, я особенно не пыталась проникнуть в его прошлое, "прочесть письмена на сгоревшей бумаге", но были в моих руках некоторые вещественные доказательства, был альбом с фотографиями, присланный ему матерью. И там ребенок, на лице которого невозможно обнаружить не только следов травмы, но и вообще ничего, кроме незаурядного здоровья. Так что стоило ему попасть в группу детей, его уже невозможно было извлечь, он там растворялся без всякого следа.

И это сходилось с тем, что он о себе говорил: до 15 лет я себя не помню, я не осознавал себя.

Или должно допустить, что никакой травмы не было, просто не все люди могут сказать: ничто человеческое мне не чуждо.

Вот сын его - "эксперимент, поставленный природой". Я прихожу, он мне улыбается - дружелюбно и даже радостно, и - тут же убегает по своим делам. Всегда в движении. Всегда занят чем-то. А потребность в общении и эмоциональная реакция - минимальны. Если его наказывают, он просто переходит на другое место. Ходить он начал раньше, чем это делают обычно дети, а говорить - позже.

Если это - гены отца. Если отец к тому же не получил в детстве никакого воспитания чувств... Но вот фотография, где он уже студент университета, и там выражение - не страха, но глубочайшей грусти. Но нет, грусть - слишком легкое слово. Выражение отдельности, как будто он узнал, что он ТАКОЙ - ОДИН - как один приговоренный к смертной казни.

Глядя на эту фотографию, я вспоминала слова его однокурсницы: на факультете у него был вид непородистой собаки среди породистых... Порода-то как раз была в нем, но он приехал из Печоры, был зачат в лагере и вырос в бараке среди бывших заключенных.

Из Печоры, которую я не могу себе представить. Та жизнь,

которую никто не описал. И открыток с изображением этого города я не видела.

С 15-ти лет он напивался до потери сознания. Ничего не читал, бил стекла и ходил в лес. В этом рассказе для меня не-правдоподобно звучало слово "лес". Я не могла представить, что он знает название хотя бы одного дерева или птицы.

А дальше - сказочная история. В 10 классе его пригласил к себе домой директор школы. У него он взял первую книгу - это был том Голсуорси. В следующий месяц он проглотил - по одной версии все собрания сочинений Голсуорси, по другой - всю библиотеку директора. И ему захотелось учиться. С тех пор он приехал он через полгода в Ленинград.

Том Голсуорси напоминал мне букву "ю", которую знал мальчик двух с половиной лет, сын героя романа "Москва-Петушки".

В этой необыкновенной истории опять все сходилось, было видно, что английский аристократизм произвел на него уже неизгладимое впечатление.

В Ленинграде он поступил на математический в Герценовский, но скоро математики ему показалось мало. Он листает справочник, отыскивая место, где изучают самое большое количество предметов. Таким местом оказался психологический факультет МГУ.

Как просто, а я не могла понять, какими судьбами он там оказался. Но нет в наши дни препятствий тому, чтобы на психологический факультет поступил человек не только полностью лишенный интереса к психологическому, но и способности психологическое воспринимать. Как нет препятствий для женитьбы у человека, лишенного потребности в другом человеке.

Детям из профессорских семей он напоминал Мартина Идена, вдруг увидевшего смысл жизни в овладении культурой. Мартина Идена на дистанции от первобытной дикости к высотам цивилизации. Только ему, в отличие от романтического героя, вовсе не нужно было любви к девушке в качестве парового двигателя. Довольно было первобытной силы и уверенности в том, что нет для него невозможного.

Сила притягивала к нему некоторых, а уверенность в себе -

раздражала.

Но он уже был очерчен кругом. И на лекции вокруг него — пустые стулья. Дистанция — будто поколения аристократических предков. Или для дистанции есть и противоположная причина: дикий зверь не подпускает близко. Маугли, повторяющий человеческие слова — разве позволил бы человеку прикоснуться к себе?

"Маугли" — так называла его однокурсница. Она же сказала, что он был — словно из дипломатического корпуса.

На лекции он сидел и читал что-то постороннее — она говорит, что то ли книгу по дипломатии, то ли по китайской философии.

С его однокурсницей я познакомилась случайно и спросила о нем, а она принесла мне дневник, там она в него влюблена.

Я принимаюсь читать — и швыряю в угол комнаты... Но в конце концов, я его прочла. Они летом в трудовом лагере. Спят на полу на матрацах. Она устроила так, чтобы рядом.

"Наконец он все же понял, что я стараюсь положить голову ближе к нему. Наши головы соприкоснулись. Он обнял меня. Сначала осторожно, потом жарко и сильно придвигнул к себе. Я ждала, когда он меня поцелует. Губы наши коснулись друг друга, но поцелуй был слаб и странен. Я боялась, что нас увидят, хотя было темно. Не знаю почему, я сняла с себя его руки. Он покорно успокаивается. И сразу засыпает."

Ночью, притворившись спящей, она слышит разговор: "Есть ли у тебя друг здесь?" — спрашивает его 35-летний однокурсник, бывший бомбаш. — "Нет, у меня вообще нет друзей... Я понял, что один, и нуждаюсь только в среде, где хочу занять хорошее положение." — "Но ведь в среде должны быть близкие. Ну, хотя бы любимая девушка." — "Нет, я никого не люблю". — "Но ведь нельзя жить без людей". — "Мне нужна только среда." — "Ты говоришь очень искренне, я впервые вижу тебя таким." — "Да, я почти никогда о себе не рассказываю. Не люблю." — "Ну, а вообще ты когда-нибудь полюбишь?" — "Может быть. Потом. Сейчас пока нет." — "Но неужели никогда, неужели ни одна девушка... Кто же может тебе понравиться?" — "Когда я

приехал в Ленинград, я пошел в Кировский. Там балерина...  
Вот, может, что-то такое."

Он уходит от костра, у которого праздновали его 19-летие. Она идет вслед, ищет его в лесу. Он не отзыается. Она спотыкается в темноте о тело. Он без рубашки. Подходят парни, уносят его к костру. У него мертвенно бледное лицо, странно холодные руки. Она пытается согреть его, начинает целовать ледяное лицо, синие губы и боится посмотреть на него. Она не слышит дыхания, ей страшно. Потом его с трудом поднимают и уносят... Утром он выходит к завтраку с опозданием, но вид - совершенно здоровый.

... Он выпивает два литра водки и пытается поднять трактор...

Но все же была женщина, о его любви к которой - ну, скажем, были разговоры.

Конечно, это была высокая блондинка с холодным красивым лицом. Но, в отличие от его холодных красивых жен, она была содержательна. И перед ее прелестью я склонилась.

Она была из тех женщин, которых называют большими. Она была величава.

Втайне, она обладала активным, хотя нереальным умом, огромным любопытством и была помешана на умении вести себя прилично.

Фантастичность всех представлений о реальности была общим свойством моих знакомых из упоминаемого НИИ, названием которому служила гуманитарная проблема, не составляющая проблемы ни для одного человека на свете. Сюда она попала с пленок и отлучалась только в гости и пить кофе. Уже десять лет их столы стояли рядом.

Она была так хороша и занимательна, что попав в ее комнату, я в ней застряла. Не из-за того, что она была близким ему человеком, но вопреки этому.. Не ради ее рассказов о нем, но теряя и их.

У нее была плохая память, и она без конца рассказывала одни и те же истории, это был какой-то эпос, но я никак не могла уловить, что же в них такого, за что их можно столько

лет помнить и рассказывать.

Она давала мне понять, что он любит её, хотя говорила именно о том, что это не так. Вроде, она считала, что он её любит, но сердилась на него за то, что эта любовь ничего в себе не заключает, что ей от этой любви никакой пользы и, значит, - это не любовь. Она не могла рассчитывать на него, как на "своего человека" - и это возмущало её.

В конце концов, я как-будто поняла, о чём шла речь. Иногда и мне теперь казалось, что он любит меня или будет любить, хотя в то же время это нельзя назвать любовью, потому что в этой любви нет ничего, что бывает в любви. Можно сказать, что это самая бескорыстная и самая чистая любовь, которую только можно помыслить, ибо она не только ничего не отдаёт, но и не ждёт, не требует, а, главное, не хочет. Любовь, не приносящая ни боли, ни счастья. Он любит, как любят не человека, а что-то неорганическое. Что-то такое, с чем не вступают в контакт. Запах снега. Оттенок цвета. Конечно же, так он её любил. И это в соединении с тем, что внешне он всегда обращался с женщиной, именно как с женщиной, - никакого товарищеского тона. И когда он целовал руку - а делал он это всегда, неизменно, даже в набитом автобусе - то прикасался так бережно, так легко, и мог при этом так посмотреть, что можно было подумать, что он тайно, романтически, робко влюблен - можно было бы подумать, если бы до этого я не провела три часа наедине с могильно холодным человеком, если бы не знала, как хорошо знает он, что яrabски люблю его.

... Однажды, он спросил при мне у нашего общего приятеля, замечательного своими беспрерывными искренними романами: "А как ты узнаешь, что перестал любить?"

После больницы ему нельзя было пить полгода. Неожиданно, в эти полгода у меня появился бледный росточек надежды на то, что в нем может появиться по отношению к другому человеку, что-то кроме расчета, формализма и любви к ритуалу. Я в нем заметила бледный, крохотный росточек.

... Я прихожу к нему, он в этот день особенно прелестен, и он спрашивает, пила ли я кофе? Я отвечаю: да, пила. Он из-

дает разочарованное междометие. "А я ждал Вас, хотел попить с Вами." Это было удивительно: я не могла пить кофе больше раза в день, но он то ли на самом деле, то ли демонстративно подобных вещей никогда не помнил – я это воспринимала как легкое издевательство.

Выражать нежность, не прибегая к словам и ласкам – я постепенно изощрялась в этом, он оказывался как бы в растворе нежности, и в это время я начала улавливать какой-то ответ, неритуальное внимание, подкрепляющее атмосферу нежности. И вот возникла надежда, что в нем могут развиваться чувства, что он не будет так элементарен...

Но миновали те полгода, когда нельзя было пить, и снова эта жуткая рутина, эта карусель: запой, похмелье, работа. Какое тут воспитание чувств. Ничего больше не будет.

Месяца за два до конца этой истории я пришла к нему в мастерскую и застала его сидящим неподвижно перед своей неоконченной работой. После моего прихода он продолжал сидеть молча, не сводя с нее глаз, спросив у меня только, не хочу ли я водки? Я тоже молчала за его спиной. И вдруг подумала стихами, которые никогда прежде не соединялись у меня с ним: "О нет, не расколднешь сердца ты ни лестью, ни красой, ни словом. Я буду для тебя чужим и новым – всё призрак, всё мертвец в лучах мечты." "И ты уйдешь..." – было дальше.

Работы, перед которыми мы сидели – большие абстрактные композиции с коллажем – недвусмысленно говорили мне, где и почему я ошиблась. Мое понятие о нем вышло из его абстракций. Я совмещала идею свободной стихии с тем, что видела в нем. И строила синтез. Множественность его состояний, его обликов были некоторым подтверждением, что есть в нем еще свобода.

Но в конце концов я уже давно знала, как делаются монотипии. На стекло наносят краску, затем прижимают бумагу. Иногда что-то выходит. Но форма, получившаяся при этом, нерукотворна. Свобода в ней – свобода случайности. Именно та, что в творениях неорганической природы.

Теперь, глядя на композиции, которые он делал руками, я видела, что свободы нет и в помине.

Представление о свободе в нем было для меня чувством, что есть будущее. Теперь это кончилось.

Он готовил к выставке эти композиции наскоро.

Эта торопливость, желание выставить при всяком удобном случае, была для меня печальна.

За полгода до этого была первая выставка товарищества неофициальных художников. Он не участвовал, его как-то обидно и небрежно не взяли, и в день открытия на выставке у него было совершенно не свойственное ему скептическое выражение лица. Я смотрела на него издали, он был на себя не похож — был незаметнее и проще.

Сама выставка производила впечатление чего-то крайне суевного и вовсе неромантического. Мною владело раздражение — казалось, что все это не для художников и не для зрителей. Но ради какого-то факта. То и дело на глаза попадались довольные фактам люди.

Глядя на картины, развешенные без всякой любви, что для меня было особенно грустно, я не думала о том, что все это лишено смысла, но здесь, в этот момент, картины смысла не имели.

Я опять спрашиваю себя: ну, что тебе нужно? Или ты пришла сюда только потому, что включилась в эту систему, уже нельзя не прийти, уже есть инерция.. Или нужны вечные доказательства, что красота, живая красота существует. Что человек не выродился, что есть у кого-то силы сопротивляться бездуховности и бесчеловечности. Но как мне тут одиноко, неужели никого из них не волнует то же, что меня, не так уж я оригинальна в своем мироощущении, чтобы переживать то, чего никто не переживает. Не объект, значит, это творчества. Вокруг не абстракции, на каждой картине что-то изображено, но только на одной что-то мне внятное: поле, посреди старинные, исчерченные надписями и знаками ворота, в воротах человек, из тех, что с одной стороны мало что знает, а с другой — философ, на меньшее не согласен. Пусто — и впереди, и сзади.

Я раздражена тем, что не могу все это освоить. Я ничего не нахожу для себя, но я думаю, что выставка состоит из художников, понять и почувствовать которых вовсе не было бы

пустым занятием.

Потом он стал писать мой портрет. Я предвидела, что именно это окажется выше моих сил. Несколько часов смотреть на него... Смотрела я, а не он. О его взгляде я думала: как может быть поверхностен взгляд. Он даже кожи не касался, не говоря обо мне самой.

Я смотрела — это было захватывающее зрелище. По мере того как он работал, глаза его становились всё огромнее, лицо расплывалось какой-то неведомой страстью. Страстю к краскам или еще к чему-то, входящему в процесс рисования.

Потом мы шли пить кофе. Он принес его мне, положил сахар в мою чашку и размешал. Вот и интимная ласка. Ну, конечно, я это предвидела: теперь он будет любить меня — как он любит всё то, что рисует.

Ни он, ни я не подозревали, что пьем кофе вместе в последний раз.

Кончилось всё в следующую встречу. Подробности не имеют значения. Вдруг, истерически, я начала делать именно то, чего с ним нельзя. Что-то во мне догадалось, что я уже могу жить без него.

В первые дни мне показалось, что теперь это возможно потому, что он стоял перед моим портретом, и лицо еголучилось нежностью — и как лучилось! Нежностью к своему творению. Я была на портрете красивая, но сам портрет выглядел как беспомощная работа дилетанта. Не было ничего удивительного в том, что ему не справиться с портретом, который он писал в манере, требующей долгого обучения. Я не сомневалась, что, потрудившись достаточное время, он что-то сделает. Но он не должен был так смотреть.

И всё, с ним связанное, показалось мне в эти дни миражем, созданным любовью. Мне было очень стыдно: своим восторгом я, может быть, укрепляла его в ошибочном представлении о ценности его картин.

Но, спустя какое-то время, всё стало примерно на те же места. Нет, этот художник не был только моим созданием.

**Узкий талант.** Узкая и глубокая — пронзительная чувствительность. Но в той предельно ограниченной сфере, где он создавал и чувствовал, он был накоротке с красотой.

Я встречаю Мишу. "Я его больше не вижу. Всё кончилось", — говорю я ему. — "Как непостоянны женщины." — "Ничего себе — непостоянны. Восемь лет." — "Это не имеет значения — восемь лет, год или день. Постоянно — это когда всю жизнь."

Я снова на выставке. И смотрю на художников. Я знаю определенно: они мне нужны. Но я все-таки не знаю почему. Дело уже не в желании научиться видеть — тут мне больше не нужны посредники. Но то, что значит для человека искусство — это, должно быть, время от времени приходится определять заново. И что значит художник.

Что-то ещё мне нужно от них.

§§§§§§§§

Ленинград, 1981-1986